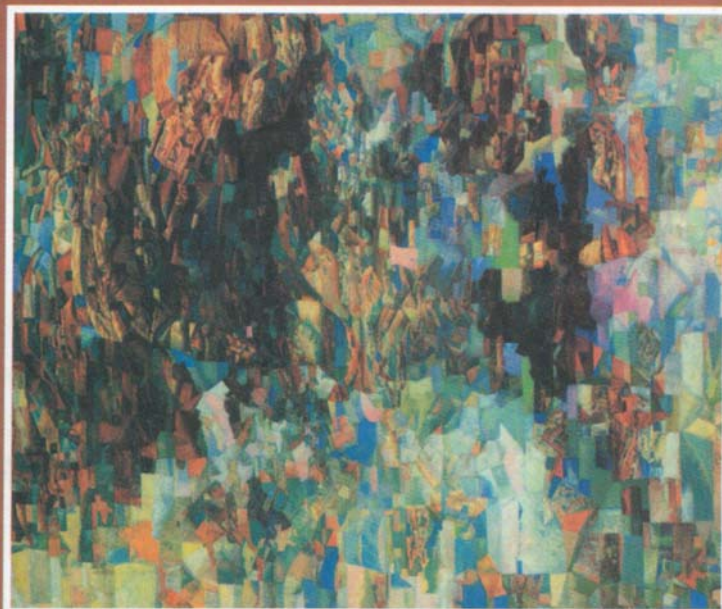


МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ПСИХОЛОГИИ

Ф.Е. ВАСИЛЮК



Библиографическая ссылка:

Василюк, Ф.Е. Методологический анализ в психологии [Текст] / Ф.Е. Василюк. – М.: МГППУ; Смысл, 2003. – 240 с.

Московский городской психолого-педагогический университет

Ф.Е. Василюк

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ПСИХОЛОГИИ

*Рекомендовано Советом по психологии УМО по
классическому университетскому образованию в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению и специальностям психологии*

Москва
МГППУ Смысл
2003

УДК 159.95

ББК 88

В 194

В 194 Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.—240 с.

ISBN 5-89357-144-4 («Смысл»)

ISBN 5-94051-018-3 (МГППУ)

Рецензенты:

Академик РАО, профессор В.П. Зинченко

Доктор психологических наук Д.А. Леонтьев

Кандидат психологических наук В.В. Умрихин

В монографии рассматриваются три уровня методологического анализа в психологии. На первом уровне фокусом методологического внимания становится отдельная категория, на втором — психологическая концепция, на третьем — научная ситуация. Каждый из уровней представлен в книге образцами коротких методологических исследований, материалом для которых послужили концепты и концепции таких авторов, как И.П. Павлов, Г. Селье, Б.Ф. Скиннер, А.Н. Леонтьев, Н. А. Бернштейн, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев и др.

Пособие адресовано аспирантам и студентам старших курсов психологических факультетов. Навыки методологической работы особенно востребованы при подготовке к итоговым и кандидатским экзаменам, при написании диплома и диссертации. Книга обращена также к коллегам, которые, уже все сдав и защитив, продолжают с интересом вдумываться в теоретико-методологические проблемы психологии.

ISBN 5-89357-144-4 («Смысл»),

ISBN 5-94051-018-3 (МГППУ)

© Ф.Е. Василюк, 2003

© Московский городской психолого-педагогический университет, 2003

© Издательство «Смысл» (оформление), 2003

Предисловие

1976 год. Москва. Моховая... прошу прощения — проспект Маркса. Крыльцо Института общей и педагогической психологии АПН СССР. М. К. Мамардашвили в перерыве между лекциями набивает трубку табаком.

— Мераб Константинович, какая сейчас самая актуальная проблема в психологии?

Не торопясь, зажигает огонь. Раскуривает. Затягивается. Облачко ароматного дыма. Взгляд исподлобья:

— Как и везде. Проблема выживания.

Прошло четверть века. Выжила ли наша психология? Скажут, что за вопрос?! Полки книжных магазинов ломятся от психологической литературы. Вместо трех профессиональных журналов выходят десятки. Есть даже психологические газеты. В одной только Москве больше пятидесяти (!) психологических факультетов. Действуют сотни психологических центров разного профиля — и государственных, и общественных, и частных. Признаки роста налицо. Психологии много. (Иногда кажется даже, что слишком много.) И, тем не менее, вопрос о выживании не так прост.

Живой организм — это не набор какого-то количества органов. Признаком «жизненности» является не только рост, но и целостность. Именно единства нашей психологии недостает для того, чтобы она не просто выживала, а полнокровно жила. Цельность в науке — это не монолитное единомыслие, а возможность сойтись в споре, значимость противостояния позиций и подходов. Сейчас же в нашей профессии камни разбросаны настолько, что они почти не сталкиваются между собой. Нет общего

пространства мысли, где научное слово могло бы кого-то всерьез затронуть, возмутить или обрадовать, вдохновить и побудить к ответу и дискуссии. Слово перестало быть общезначимым событием.

Не знаю, наступило ли время собирать камни. Но хорошо представляю образ «героя» новой психологии, которому эту задачу собирания камней предстоит решать. Это молодой коллега, получивший университетское психологическое образование и благодаря здоровой инертности всякой образовательной системы успевший приобщиться к живой традиции отечественной психологической мысли. Его учителя лично знали «отцов-основателей» А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурию, П.Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина и др. В то же время у моего воображаемого героя была возможность погрузиться в океан западной психологической литературы, возможность, которую до середины 1990-х годов имели лишь единицы. Но и это не все — многочисленные тренинги, «workshop'ы» заезжих психологических знаменитостей, мастер-классы по разным направлениям психологической практики, которые за 5 лет учебы на психологическом факультете он успел посетить, довершают краткий обзор первичного профессионального багажа молодого психолога. Багаж немалый, он не страдает от дефицита информации, но, похоже, страдает от дефицита системы. Голова его пухнет от множества трудно совместимых между собой подходов, категорий, взглядов и методов. Каждый метод вроде бы работает, каждая из освоенных им многочисленных концепций по-своему убедительна, за каждым подходом стоят мировые авторитеты, которые к тому же (неслыханное для предшествующих психологических поколений дело!) предлагают вполне реальную возможность дальнейшей углубленной специализации. Нужно делать выбор, который решит, быть может, всю дальнейшую профессиональную судьбу. Это время, когда появляется насущная потребность

не просто узнать что-то новое, но навести порядок в своих знаниях, выработать отношение к разным школам, занять позицию; время, когда нужно что-то противопоставить гипнозу убедительности существующих психологических теорий и попытаться сказать свое слово в науке.

Наш герой поступает в аспирантуру, справедливо надеясь на особую форму обучения, где ему не просто предоставят возможность подготовить и защитить диссертацию, но и помогут выработать осознанную, личную систему профессиональных взглядов, профессиональное мировоззрение. Однако этому-то его как раз никто и не учит. Курсы по психологии большей частью представляют собой подготовку к сдаче кандидатского минимума, то есть конспективное повторение дисциплин психологического цикла, которые он в развернутом виде уже прослушал на психологическом факультете. При этом сам принцип обучения совершенно не меняется. А жаль.

Жаль потому, что и магистральное направление, по которому пойдет развитие нашей психологии, и то, сможет ли отечественная психология снова собраться в целостную дисциплину, преодолеть раздробленность на тысячу мелких островков, — все это зависит именно от сегодняшнего аспиранта. Так было не всегда и так будет недолго. Сейчас в аспирантуру приходит первое поколение психологов, которые получили образование в небывалых до сих пор условиях — во-первых, в ситуации вполне сформировавшейся психологической практики, во-вторых, при обилии переводов западной психологической литературы, в-третьих, при живой еще отечественной психологической традиции. Такое сочетание условий встречается впервые. Поэтому позволю себе выдвинуть прогноз, что именно из аспирантов первого десятилетия нынешнего века должны выйти лидеры психологии, которые определят лицо нашей науки на следующем большом историческом этапе.

Исходя из этих соображений, самым актуальным в развитии психологического образования сегодня является реформирование системы обучения в аспирантуре. И главная инновация, которая, на мой взгляд, должна быть внесена в эту систему, — обучение критическому методологическому мышлению.

С таким пониманием исторической ситуации отечественной психологии связан замысел данной книги. Она задумана как учебное пособие по курсу «Техника методологического анализа в психологии», который автор планирует разработать и прочесть для аспирантов МГППУ. Цель этого курса, в отличие от традиционно читающегося в рамках пятилетней университетской программы курса «Методологические основы психологии»¹, состоит не в том, чтобы рассмотреть философско-методологическое значение некоторых важных проблем, принципов, подходов и категорий психологии, а в том, чтобы научить слушателя технике самостоятельного формулирования и решения методологических задач, возникающих в ходе всякого научного исследования. Не плоды методологического анализа, а его методику и инструментарий — вот что хотелось бы выдвинуть на первый план в этом курсе. Рассчитываю на интерес аспирантов к такому курсу, поскольку написание литературного обзора к диссертации, формулировка предмета и метода исследования, ответы на традиционные вопросы о теоретической новизне и практи-

¹ Вот государственный стандарт содержания этого курса: «Общее представление о методологии науки; методология психологии, теория, метод и методика; парадигма; классическая и постклассическая парадигма науки; специфика психологического знания; научное и ненаучное психологическое знание; проблема объективности; категории психологии: деятельность, отражение, личность, сознание и общение; основные принципы психологии: активность, развитие, детерминизм, системность; структура психологических учений; психофизическая и психофизиологическая проблемы».

ческой значимости как раз и требуют навыков в решении методологических задач.

Можно выделить три рода таких задач и, соответственно, три уровня методологической работы:

1. Методологический анализ психологических понятий.
2. Методологический анализ психологических теорий.
3. Методологический анализ состояния данной области психологической науки.

Так выглядит и общая структура книги. В каждой из трех частей мы приводим примеры, образцы методологических анализов, где методологический инструментарий показывается в действии.

Это не хрестоматия и не учебник, а именно «учебное пособие» для авторского спецкурса. Автор подобрал для него собственные тексты так, чтобы они могли выпукло представить средства и технику методологического анализа на разных уровнях: уровне психологического понятия, отдельной теории и научной ситуации. Конечно, ни хрестоматии, ни учебника такое пособие не заменит, но и в нем есть нечто незаменимое и важное, то, что обычно не попадает в хрестоматии и учебники, — личное профессиональное мировоззрение. Для того чтобы аспиранту вырабатывать собственную профессиональную позицию, ему нужно встретиться не только с научными понятиями, категориями и концепциями, но и с чьей-то персональной позицией, разумеется субъективной, но не просто декларированной, а воплощенной в конкретном исследовательском материале. Второе преимущество такого монографического пособия по сравнению с хрестоматией — в том, что к анализу разнообразного материала применяются одни и те же методологические средства, что дает возможность лучше понять и ощутить данный набор инструментов.

Почти все методологические средства, которые используются в этой книге, были созданы работой знаменитого Московского методологического кружка под

руководством Г.П. Щедровицкого. Мне довелось посещать кружок в середине 1970-х годов, и особенное влияние на мое мышление оказали тогда В.Я. Дубровский и О.И. Генисаретский, которых я считаю своими учителями в области методологии.

Первые, еще студенческие пробы применения освоенных в кружке методологических орудий на конкретном психологическом материале проходили в творческом диалоге с преподавателями факультета психологии МГУ В.П. Зинченко, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузыреем, А.А. Тюковым, А.Г. Асмоловым, В.В. Петуховым. С благодарностью вспоминаю интеллектуально напряженную и личностно раскрепощенную вдохновляющую атмосферу, в которой проходили их занятия.

Я с удовольствием готовил это пособие для аспирантов, может быть, еще и потому, что собственные годы аспирантуры, прошедшие под руководством А.Н. Леонтьева, а после кончины Алексея Николаевича под руководством В.П. Зинченко, вспоминаются как один из самых радостных и насыщенных периодов жизни, когда профессиональные взгляды складывались в силовом поле между библиотекой и дружеским застольем, и психология причудливо переплеталась с обстоятельствами личной судьбы, литературными вкусами, спортивными увлечениями, политическими анекдотами и философией жизни. Благодарю за эти воспоминания моих учителей и друзей. Из последних особенно Н.А. Алексеева и В.Э. Реньге.

Часть 1. Методологический анализ психологических понятий

1.1. Введение

Понятие является основным средством научного мышления. Всякий профессионал знает, насколько успех дела зависит от совершенства и состояния орудий его труда, и потому с любовью и тщанием относится к ним — чистит, правит, смазывает, настраивает. Ученый — и в частности психолог — не исключение. Какой бы работой ни был занят психолог — исследовательской или практической, — если он хочет действовать не «по-фельдшерски» и не по наитию, если хочет понимать то, что делает, словом, если выбирает путь профессионала, ему необходимо овладеть мастерством обращения с научными психологическими понятиями. Это мастерство включает в себя, во-первых, умение осваивать понятия, во-вторых, искусство применять их и, в-третьих, навыки методологической обработки понятий (одно дело — овладевать приемами стрельбы из ружья, другое — стрелять и третье — ружье ремонтировать и чистить). Понятиям, как и материальным орудиям труда, свойственно ветшать, притупляться, засоряться, и потому они нуждаются в постоянной методологической заботе. Иногда она состоит в попутной корректировке понятия, иногда приходится ставить его на капитальный ремонт, разбирать на части и собирать заново, иногда требуется создать совершенно новое научное понятие (взяв в качестве материала старый термин,

житейское слово, поэтическую метафору), иногда необходимо «выполоть сорняки» диких понятий, чтобы пробиться к ясному смыслу, но так или иначе методологическая составляющая в профессиональном психологическом мышлении присутствует всегда.

Настоящее пособие вовсе не ставит перед собой цели полного освещения существующих видов и приемов методологической работы с понятиями — это задача особого метаметодологического текста, здесь же мы даем лишь выборочные образцы методологических анализов психологических понятий.

В главе 1.2 предметом такого анализа станет понятие стресса. Это пример «попутной» методологии, которая обслуживает работу теоретического конструирования, как бы расчищая для задуманной теории пространство мысли и готовя для будущих теоретических конструкций вспомогательные элементы и формы. Методологический анализ понятия заключается здесь в том, чтобы, выявив логические противоречия в его научном употреблении, отыскать тот неявный категориальный контекст, в котором противоречия снимаются, и тем самым определить точные условия научно-критического (в отличие от наивно-реалистического) употребления этого понятия. Такая методологическая работа напоминает попытку палеонтолога, нашедшего остатки странного органа ископаемого животного, восстановить среду обитания и образ жизни его, чтобы понять биологический смысл и функцию этого органа.

В главе 1.3 «Историко-методологический анализ психотерапевтических упований» методология играет не служебную, а относительно самостоятельную роль, соответственно этому изменяются и задача, и метод работы. Сначала вводится рабочая методологическая категория «упования», отражающая, как утверждается, важнейший структурный компонент любой психотерапевтической системы, а затем под углом зрения этой категории рас-

смаатриваются последовательно появлявшиеся на исторической сцене психотерапевтические подходы. С этими подходами проводится методологическое интервью, в котором всем им предлагают ответить на один и тот же вопрос, и затем полученные ответы выстраиваются в один квазиисторический ряд¹. Продолжая палеонтологические аналогии, можно сказать, что если бы таким методом воспользовался палеонтолог, он выделил бы одну, интересующую его биологическую функцию (питание, локомоцию и т.п.), затем проанализировал бы те органы, те морфологические приспособления, которые у организмов разных эпох эту функцию выполняли, и в итоге расставил бы их не в хронологическом порядке, а в порядке принципиальных новаций в этих органах.

Разумеется, представленными в этой части книги двумя методологическими этюдами все многообразие видов анализа психологических понятий и категорий не исчерпывается. Но, повторим, задача данного учебного пособия вовсе не в создании завершенной методологической системы, а в том, чтобы предложить аспиранту примеры методологических анализов, которые позволят ему в подходящей профессиональной ситуации действовать по логике прецедента, применяя использованные в этих примерах методологические средства и операции к другим психологическим понятиям и категориям.

¹ Сам такой метод работы стоит назвать «квазиисторическим» анализом. Его отличие от исторического состоит в том, что он не стремится проследить фактические исторические связи, но лишь выявить внутренне необходимую категориальную логику исторической смены психологических понятий. Поэтому подобная методологическая работа не столько историческая, сколько «поэтическая», имея в виду определение, согласно которому дело поэта, в отличие от историка, «...говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть по вероятности или необходимости» (*Аристотель*, 1984, с. 655).

1.2. Методологический анализ понятия стресс²

Если бы требовалось одним словом определить критическую жизненную ситуацию, следовало бы сказать, что это — ситуация невозможности. Невозможности жить, реализовывать внутренние необходимости жизни (удовлетворять потребности, достигать цели, воплощать ценности и т.д.). Из круга терминов, которыми в современной психологии описывается эта реальность, можно выделить четыре ключевых, наиболее значимых понятия: стресс, фрустрация, конфликт и кризис. Хотя литература по данному вопросу огромна³, теоретические представления о критических ситуациях развиты довольно слабо. Особенно это касается теорий стресса и кризиса.

² Этот короткий методологический этюд представляет собой фрагмент из книги «Психология переживания» (Василюк, 1984). Теоретическая задача, в контексте которой возникла необходимость в подобном анализе, состояла в том, чтобы введенное автором понятие критической ситуации соотнести с существующими в психологической литературе родственными понятиями. Результатом решения этой задачи стало объединение ряда раздробленных понятий-«княжеств» (стресса, конфликта, фрустрации и кризиса), то посягавших на земли соседей, то не желавших знать друг друга, в одну централизованную категорию-«государство», внутри которой каждое понятие получило свой строго определенный «надел» с четкими границами. Таков был конечный итог, в предлагаемом же фрагменте читатель увидит, как именно устанавливались пограничные знаки (стоит напомнить, что латинское «термин» означает пограничный знак, межа, граница), очерчивающие территорию одного из «княжеств» — понятия стресс.

³ По одному только стрессу и темам, с ним связанным, уже к 1979 г. было опубликовано, согласно данным Международного института стресса, 150 000 работ (Se/ye, 1979, p. 11).

Многие авторы ограничиваются простым перечислением конкретных событий, в результате которых создаются стрессовые или кризисные ситуации, или пользуются для характеристики этих ситуаций такими общими схемами, как нарушение равновесия (психического, душевного, эмоционального), никак их теоретически не конкретизируя. Несмотря на то, что темы фрустрации и конфликта (каждая в отдельности) проработаны намного лучше, установить ясные отношения хотя бы между двумя этими понятиями не удастся (*Eysenck*, 1975), не говоря уже о полном отсутствии попыток соотнести одновременно все четыре названных понятия, определить, не перекрещиваются ли они, каковы логические условия употребления каждого из них и т.д. Исследователи, изучающие одну из этих тем, любую критическую ситуацию подводят под излюбленную категорию, так что для психоаналитика всякая подобная ситуация является ситуацией конфликта, для последователей Г. Селье — ситуацией стресса и т.д., а авторы, чьи интересы специально не связаны с этой проблематикой, при выборе понятия стресса, конфликта, фрустрации или кризиса исходят в основном из интуитивных или стилистических соображений. Все это приводит к большой терминологической путанице.

Ввиду такого положения дел первоочередной теоретической задачей, которая и будет решаться на последующих страницах, является выделение для каждой из понятийных фиксаций критической ситуации специфического категориального поля, задающего сферу ее приложения. Решая эту задачу, мы будем исходить из общего представления, согласно которому тип критической ситуации определяется характером состояния «невозможности», в котором оказалась жизнедеятельность субъекта. «Невозможность» же эта определяется, в свою очередь, тем, какая жизненная необходимость оказывается парализованной из-за неспособности имеющихся у субъекта

типов активности справиться с наличными внешними и внутренними условиями жизнедеятельности. Эти внешние и внутренние условия, тип активности и специфическая жизненная необходимость и являются теми главными пунктами, по которым мы будем характеризовать основные типы критических ситуаций и отличать их друг от друга.

Стресс

Непроясненность категориальных оснований и ограничений более всего сказалась на понятии стресса. Сначала оно означало неспецифический ответ организма на воздействие вредных агентов, проявляющийся в симптомах общего адаптационного синдрома (Селье, 1960, 1979), теперь это понятие относят ко всему что угодно, так что в критических работах по стрессу даже сложилась своеобразная жанровая традиция начинать обзор исследований с перечисления чудом уживающихся под шапкой этого понятия реакций на такие совершенно разнородные события, как температурное воздействие и услышанная в свой адрес критика, гипервентиляция легких и деловой успех, физическая усталость и моральное унижение (Вилюнас, 1972; Лазарус, 1970; Наенко, Овчинникова, 1970; Губачев и др., 1976). По замечанию Р. Люффа, «многие считают стрессом все, что происходит с человеком, если он не лежит в своей кровати» (см. Леви, 1970, с. 317), а Г. Селье полагает, что «даже в состоянии полного расслабления спящий человек испытывает некоторый стресс» (Селье, 1970, с. 30), и приравнивает отсутствие стресса к смерти (*там же*). Если к этому добавить, что по Селье стрессовые реакции присущи всему живому, в том числе и растениям, то это понятие вместе со своими нехитрыми производными (стрессор, микро- и макростресс, хороший и плохой стресс) становится центром чуть ли не космологической по своим притязаниям системы и знаменем напыщенных фило-

софско-этических построений (Селье, 1970), в которых стресс объявляется не больше и не меньше, как «ведущим стимулом жизнеутверждения, созидания, развития», «основой всех сторон жизнедеятельности человека» (Ушакова, Ушаков, Илинаев, 1977, с. 7, 14) и т.п. Пределы понятия стресса начинают мыслиться по логике гоголевского персонажа: «Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который синее, и все, что за лесом, все мое».

Подобные превращения конкретно-научного понятия в универсальный принцип так хорошо знакомы из истории психологии, закономерности этого процесса так подробно описаны Л.С. Выготским (1982), что состояние, в котором сейчас находится анализируемое понятие, наверное, можно было бы предсказать в самом начале «стрессового бума»: «Это открытие, раздувшееся до мировоззрения, как лягушка, раздувшаяся в вола, этот мешанин во дворянстве, попадает в самую опасную <...> стадию своего развития: оно легко лопается, как мыльный пузырь⁴; во всяком случае оно вступает в стадию борьбы и отрицания, которые оно встречает теперь со всех сторон» (Выготский, 1982, с. 304).

И в самом деле, в современных психологических работах по стрессу предпринимаются настойчивые попытки так или иначе ограничить притязания этого понятия, подчинив его традиционной психологической проблематике и терминологии. Р. Лазарус с этой целью вводит представление о психологическом стрессе, который, в отличие от физиологической высокостереотипизированной стрессовой реакции на вредность, является реакцией, опосредованной оценкой угрозы и защитными

⁴ Этой метафорой Л.С. Выготский выражает переходящее разумные пределы возрастание объема понятия, но, конечно, не исчезновение его содержания и не упразднение его из научного обихода.

процессами (Лазарус, 1970, *Lazarus*, 1969). Дж Эверилл вслед за С. Сэллсом (*Sells*, 1970) считает сущностью стрессовой ситуации утрату контроля, то есть отсутствие реакции, адекватной данной ситуации, при значимости для индивида последствий отказа от реагирования (*Averill*, 1973, р. 286). П. Фресс предлагает называть стрессом особый вид эмоциогенных ситуаций: «...Употреблять этот термин применительно к ситуациям повторяющимся, или хроническим, в которых могут появиться нарушения адаптации» (Фресс, 1975, с. 145). Ю.С. Савенко определяет психический стресс как «...состояние, в котором личность оказывается в условиях, препятствующих ее самоактуализации» (Савенко, 1974, с. 97).

Этот список можно было бы продолжить, но главная тенденция в освоении психологией понятия стресса видна и из этих примеров. Она состоит в отрицании неспецифичности ситуаций, порождающих стресс. Не любое требование среды вызывает стресс, а лишь то, которое оценивается как угрожающее (Лазарус, 1970; *Lazarus*, 1969), которое нарушает адаптацию (Фресс, 1975), контроль (*Averill*, 1973), препятствует самоактуализации (Савенко, 1974). «Вряд ли кто-либо думает, — апеллирует к здравому смыслу Р.С. Разумов, — что любое мышечное напряжение должно явиться для организма стрессорным агентом. Спокойную прогулку <...> никто не воспринимает как стрессорную ситуацию» (Разумов, 1976, с. 16).

Никто? Тщетны надежды на здравомыслие — есть исследователь, который даже состояние сна, не говоря уж о прогулке, считает не лишенным стресса. И это не какой-нибудь безвестный провинциал, а сам отец учения о стрессе Ганс Селье. Г. Селье настойчиво утверждает, что стресс есть «...неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование» (Селье, 1979, с. 27). Подчеркнем: **любое**, в том числе, например, требования осуществлять дыхательные движения.

Стремление психологов осуществить ревизию понятия стресс можно понять. Действительно, как примирить

формулировку Г. Селье с неустранимым из этого понятия представлением, что стресс — это нечто необычное, из ряда вон выходящее, превышающее пределы индивидуальной нормы функционирования? Как совместить в одной мысли «любое» с «экстремальным»? Казалось бы, это невозможно, и психологи (да и физиологи — Губачев и др., 1976, с. 12—16) отбрасывают «любое», то есть идею неспецифичности стресса, противопоставляя ей идею специфичности. Но устранить идею неспецифичности стресса (ситуаций и реакций) — это значит убить в этом понятии то, ради чего оно создавалось, его основной смысл. Пафос этого понятия не в отрицании специфического характера стимулов и ответов организма на них (Селье, 1979, с. 27-28; Selye, 1979, p. 12), а в утверждении того, что любой стимул наряду со своим специфическим действием предъявляет организму неспецифические требования, ответом на которые является неспецифическая реакция во внутренней среде организма.

Из сказанного следует, что если уж психология берет на вооружение понятие «стресс», то ее задача состоит в том, чтобы, отказавшись от неоправданного расширения объема этого понятия, тем не менее сохранить основное его содержание — идею неспецифичности стресса. Чтобы решить эту задачу, нужно эксплицировать те мыслимые психологические условия, при которых эта идея точно отражает задаваемый ими срез психологической реальности. Мы говорим о точности вот почему. Спору нет, нарушения самоактуализации, контроля и т.д. вызывают стресс, это достаточные условия его. Но дело состоит в том, чтобы обнаружить минимально необходимые условия, точнее, *специфические* условия порождения *неспецифического* образования — стресса.

Для решения этой теоретической задачи можно попытаться поставить мысленный эксперимент: каким должно быть некое гипотетическое существо, чтобы *любое*

требование среды являлось для него одновременно **критическим, экстремальным?**

Понятно, что подобное совпадение «любого» с «экстремальным» может быть только у существа, не способного справиться ни с какими требованиями вообще и в то же время внутренней необходимостью жизни которого является неотложное («здесь-и-теперь») удовлетворение всякой потребности. Для такого существа «нормальным» может быть лишь жизненный мир, который «легок» и «прост», то есть таков, что удовлетворение любой потребности происходит прямо и непосредственно, не встречая препятствий ни со стороны внешних сил, ни со стороны других потребностей и, стало быть, не требуя от индивида никакой активности.

Эмпирическую реализацию описанного гипотетического существования, когда все потребные для жизни блага даны сами собой, а жизнь сведена к витальным функциям организма, можно усмотреть, да и то с большими оговорками, только в пребывании плода в чреве матери; однако в качестве одного из аспектов такое существование присуще всякой жизни, проявляясь в виде установки на «здесь-и-теперь» удовлетворение, или в том, что З. Фрейд называл «принципом удовольствия».

Понятно, что осуществление этой установки в действительных природных и социальных условиях сплошь и рядом прорывается самыми обычными, **любыми** требованиями реальности. Если подобный прорыв квалифицировать как особую критическую ситуацию — стресс, мы приходим к искомому понятию стресса, в котором очевидным образом удастся совместить идею «экстремальности» и идею «неспецифичности». При описанных содержательно-логических условиях вполне ясно, как можно считать стресс критическим событием и в то же время рассматривать его как перманентное жизненное состояние.

Итак, категориальное поле, стоящее за понятием стресса, можно обозначить термином «витальность»,

понимая под ним неустранимое измерение бытия, «законом» которого является установка на «здесь-и-теперь» удовлетворение.

* * *

Подведем итог. Всякий научный закон описывает не эмпирические, а идеальные процессы и зависимости, которые совпадают с фактически наблюдаемыми лишь при выполнении определенных условий (например, эмпирическое тело законопослушно падает на землю с ускорением в соответствии с законом свободного падения тел лишь при условии, что на него действует только сила тяжести и не действуют никакие другие силы, в частности сопротивление воздуха). Подобным образом и научное понятие является адекватным и точным лишь в заданном категориальном контексте.

Таким контекстом для понятия «стресс», как показал проведенный методологический анализ, является представление о «витальном» аспекте бытия, в котором а) весь жизненный процесс сведен к жизнедеятельности организма, б) «внутренней необходимостью» жизни является немедленная удовлетворенность любой потребности в) и, соответственно, «нормальными» условиями жизни считается непосредственная данность всех жизненных благ.

В этом контексте снимается противоречие между утверждением Г. Селье о том, что стресс есть перманентное жизненное состояние, поскольку вызывается любыми требованиями среды, и интуициями исследователей о необходимости особых экстремальных обстоятельств для порождения стресса.

Стресс нужно мыслить как критическую ситуацию именно в том слое бытия, который можно обозначить термином «витальность». «Витальность» неустранимо присутствует во всякой жизни, но жизнь вовсе не сводится к «витальности». Поэтому, если мы хотим соотнести понятие стресса с другими понятиями, описывающими

критические ситуации, нельзя это делать непосредственно, без учета их категориальных контекстов. Теоретически осмысленным это соотнесение может быть только в случае, если мы и для этих понятий определим соответствующие им категориальные контексты.

В пределах данной книги сам процесс методологического анализа понятий фрустрации, конфликта и кризиса мы опускаем⁵ и приводим лишь его результаты.

Каждому из понятий, описывающих различные критические ситуации, соответствует особое категориальное поле, задающее нормы функционирования этого понятия, которые необходимо учитывать для его адекватного научного употребления. Такое категориальное поле в плане онтологии отражает особое измерение жизнедеятельности человека, обладающее собственными закономерностями и характеризующее присущими ему условиями жизнедеятельности, типом активности и специфической внутренней необходимостью. Сведем все эти характеристики в таблицу.

Таблица 1
Типология критических ситуаций

Онтологическое поле	Тип активности	Внутренняя необходимость	Нормальные условия	Тип критической ситуации
«Витальность»	Жизнедеятельность организма	«Здесь-и-теперь» удовлетворение	Непосредственная данность жизненных благ	Стресс
Отдельное жизненное отношение	Деятельность	Реализация мотива	Трудность	Фрустрация
Внутренний мир	Сознание	Внутренняя согласованность	Сложность	Конфликт
Жизнь как целое	Воля	Реализация жизненного замысла	Трудность и сложность	Кризис

⁵ Заинтересованный читатель может ознакомиться с ним по изданию: *Василюк Ф.Е.* Психология переживания. М., 1984; см. также: *Василюк, 1995; Василюк, 1995 а.*

1.3. Историко-методологический анализ психотерапевтических упований⁶

*«...Будьте всегда готовы всякому, требующему
у вас отчета в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением»*

(1Петр 3:15)

«Без онтологии тоска берет за горло», — признались друг другу два философа в далеком уже советском 1974 году (Мамардашвили, Пятигорский, 1974). За психотерапевтическое горло берет другая тоска — без антропологии.

Сейчас так сильно выросло влияние психологической практики на культуру, так перегружена оказалась сама современная психология и психотерапия бесчисленными обломками всевозможных культур и культов, что, быть может, главное наше профессиональное дело состоит сегодня в том, чтобы задавать себе метафизические вопросы: что есть человек? В чем его предназначение? В чем суть нашей профессии не как ремесла, но как призвания? Како веруем?

Психотерапия настолько сильна и влиятельна, что не может более позволить себе оставаться антропологически беспечной и не замечать, какой мощности энергии развязывает она, раскупоривая очередной «архетип» и выпуская из него засидевшихся джинов в душевное и социальное пространство. Можно, конечно, отмахнуться от этой ответственности и укрыться за множеством готовых оправданий: к нашим услугам и новейший постмодернизм (для которого любая философская и аксиологическая идентичность — смешной анахронизм), и обветшалый позитивизм («мы исходим из фактов и отвечаем лишь за точность процедур»), и прагматизм общий («наш закон — польза заказчика») или медицинский («ради скорейшего избавления от симптомов хороши все

⁶ См. примечание в разделе «Комментарии».

средства»). Однако нам слишком хорошо известно из наблюдений за пациентами, как патогенны поиски алиби там, где нужно мужество принятия ответственности.

Кажется, наступает такой период развития отечественной психотерапии, когда главные дифференциации в ней будут проходить не по линиям методологии, теории и техники, а по философско-антропологическим водоразделам. Наступает и наступило уже время выбора, время философского самоопределения, когда каждый психолог и психотерапевт, всерьез относящийся к профессии, должен будет дать отчет в своем уповании.

* * *

Этот текст — как открытое письмо, он обращен ко всем коллегам-психотерапевтам, но внутренне адресован тем, кто сделал свой выбор в пользу христианской антропологии. Сам такой выбор автоматически не предпринимает, какой может стать христианская психотерапия, как выбор площадки для строительства дома, даже наилучшей, не заменит трудов по проектированию и строительству.

В среде отечественных психологов-христиан есть две крайности. В одном случае в существующих психотерапевтических школах обнаруживается уже состоявшаяся христианская психотерапия (см., например, *Занадворов, 1994*), и дело лишь за тем, чтобы объяснить adeptам психосинтеза, гештальттерапии и пр., что они, сами того не ведая, давно говорят христианской прозой. В другом — психотерапия рассматривается на фоне неисчислимых духовных богатств, глубины, подлинности церковного опыта и объявляется пустым, ничтожным, а то и бесовским занятием. Тот, кто верит, что психотерапия может быть настоящим духовным служением, оставаясь при этом и настоящей профессией, должен избрать третий путь — сохраняя трезвую и ясную духовную позицию, бережно и с уважением отнестись к исторически пройденному психотерапией пути, и как знать, не окажется ли она вопреки

своему принципиальному секуляризму, а то и атеизму, в условиях современной культуры «детоводительницей»⁶ к христианской психотерапии.

Предмет данной главы — история психотерапевтических упований. Поясню смысл термина. Когда врач лечит больного, он рассчитывает, что лечебные мероприятия вызовут ответный процесс в организме, который, собственно, и приведет пациента к здоровью. Учитель не думает, что его объяснения сами по себе произведут в голове у ученика знания, он рассчитывает на ответный процесс понимания. Так во всяком деле — ведь и скрипач убежден, что струна отзовется. Словом, организм ли, ум ли, инструмент ли развивают в ответ на усилия человека некий процесс, упование на который составляет необходимое внутреннее условие успешной человеческой деятельности. В психотерапии, в соответствии с этой логикой, «упованием» можно обозначить тот главный механизм, основной продуктивный процесс, который непосредственно обеспечивает достижение терапевтических целей.

В каждой психотерапевтической школе есть своя теория, метатеория, своя мифология, технология и другие элементы и плоскости, но сердцевина всего этого сложного состава — именно «упование». Если бы в одночасье исчезли все бесчисленные книги по психоанализу и упразднилось все разветвленное психоаналитическое знание, а осталось бы лишь его упование — идея об исцеляющей силе осознания, то по одной этой идее можно было бы восстановить всю теорию и технику психоанализа. Напротив, извлеки эту идею из психоанализа, и вся его грандиозная постройка рухнет, превратившись в безжизненную груду лишенных смысла фактов.

⁶ «Детоводительницей» ко Христу называли греческую философию христианские богословы Климент Александрийский и св. Иустин Философ. — *Прим. ред.*

Пытаясь наметить основные вехи истории психотерапевтических упований, мы будем анализировать соответствующие механизмы и процессы не с теоретической или технической стороны, а со стороны философско-антропологической.

Осознание и внушаемость

Основной процесс, который по представлению З. Фрейда обеспечивает психотерапевтический эффект, — ***осознание***. Весь психоанализ есть борьба за то, чтобы «на место Оно стало Я». Эта постановка «Я» на место «Оно» состоит не столько в расширении сознания, как принято считать, сколько в расширении воли. Психотерапевтическое благо заключается, прежде всего, в том, что «Я» в результате анализа перестает быть марионеткой, за ниточки которой дергает «Оно», а само становится центром волений. Пусть желания по-прежнему исходят из «Оно», но «Я» избавляется от деспотии «Оно», тем более жестокой и разрушительной, что она осуществлялась негласно, с помощью подставных лиц. Психоанализ проливает свет разума на все эти закулисные махинации, разоблачает все замаскированные фигуры, обнажает все подпольно действовавшие силы, и «Я» может теперь сознательно и свободно принимать решения о том, какой из импульсов реализовать, а какому отказать в реализации. (В скобках замечу, что когда подходишь мысленно к этому торжественному моменту психоанализа, к этому венцу долгих и долгих психоаналитических усилий, то становится по-человечески жалко бедное «Я». Заговор раскрыт, маски сорваны, тайное стало явным, все кончено... Но ведь дальше нужно жить, а жить придется все с теми же подпольными фигурами, которые пытались обмануть «Я», обойти цензуру и заставить «Я» служить своим интересам. В этой открывшейся новой жизни, освещенной холодным психоаналитическим светом, прозревшему «Я» предстоит добровольно сотрудничать с

теми же силами, которые еще так недавно они вместе с психоаналитиком преследовали и вот, наконец, разоблачили, приперли к стенке, — ведь других-то содержаний в сознании нет. Азарт и колорит детектива — улики симптомов, тайнопись сновидений, обрывки свидетельских показаний в свободных ассоциациях, блеск остроумных толкований, на зависть Бейкер-стрит чудесно склеивающих осколки фактов в одну неопровержимую логическую цепь, — все это так бесцветно и уныло заканчивается, так много в психоаналитическом знании печали и так мало чего-то ободряющего и окрыляющего, что более чем понятна взаимная тенденция и пациента, и аналитика длить и длить психоаналитический «сериал», добавляя серию за серией. Не в одной сложности душевных процессов дело.)

Итак, главный результат постановки «Я» на место «Оно» состоит в том, что «Я» становится субъектом воления. Процессом, который обеспечивает этот результат, является осознание. Вся надежда психоанализа в том, что удастся силой и хитростью добыть скрываемое в бессознательном знание и понудить пациента признать объективную правду о себе, осознать ее. В *признании*, конечно, явно звучит оттенок принудительности, но все оправдано, если только состоится акт осознания, если пациент примет новое истинное знание, как бы оно ни было ему неприятно. Знание целительно. Осознание и есть, следовательно, главное упование раннего психоанализа. 3. Фрейд, который воспринимается широкой публикой как открыватель иррациональных глубин человеческой души, в действительности был до мозга костей рационалистом. Рациональному объяснению поддается все, даже, казалось бы, иррациональное и случайное: ошибки, обмолвки, сновидения. Фрейд — это апофеоз рационализма, это полное воплощение знаменитого бэконовского девиза «знание — сила». Если и до Фрейда хорошо было известно, что «сон разума рождает чудовищ», то, может быть, именно Фрейд стал главным и,

кажется, последним апостолом разума, беззаветно верившим в его чудодейственную силу, в то, что свет разума чудовищ если и не побеждает, то приручает.

Уже современные Фрейду психотерапевты далеко не всегда разделяли это глубинное упование Фрейда на разум и сознание. Но прежде чем описывать упования, которые пришли на смену фрейдовским, стоит упомянуть главный механизм, на который рассчитывала в своей работе психотерапия до Фрейда, та, которую можно назвать предысторией современной психотерапии. Это механизм **внушаемости**. Пациенту в ходе гипнотического сеанса внушалось поведение, которое он должен исполнять, или мысли, которые он должен думать, или состояния, которые он должен испытывать для его же собственного блага. Что есть благо для пациента, лучше знает врач, и что ему нужно делать, думать и чувствовать для того, чтобы достичь этого блага, тоже знает врач. Роль пациента состоит в том, чтобы максимально довериться врачу, подчиниться ему, и тогда он имеет все основания надеяться, что успех лечения будет обеспечен. Вот этот механизм доверчивости и внушаемости и есть то, на что может рассчитывать врач, психотерапевт в деле исцеления своих пациентов.

Фрейд совершил просветительскую революцию в психотерапии. Психоаналитическая антропология, несмотря на всю свою ущербность, по сравнению с антропологией старой суггестивной психотерапии была куда более человеческой. Фрейд привнес в психотерапевтический образ человека Знание и Свободу, свободу сознания. Пациенту не просто стало *позволено* узнавать в ходе лечения нечто о себе, его самопознание, осуществляемое с помощью аналитика, стало необходимым делом, от которого в конечном счете зависит весь успех лечения. Пациенту было также возвращено человеческое право самому решать, что есть для него благо, а что зло. Наконец, в психоанализе он перестает быть просто пассив-

ным объектом лечения, а становится, пусть не равным, но все же партнером в осуществлении терапевтического процесса. По сравнению со следующими психотерапевтическими школами и направлениями психоанализ порой воспринимается как достаточно авторитарная и монологическая система, но на фоне доминировавшей до него суггестивно-принудительной психотерапией Фрейд выглядит настоящим освободителем.

Спонтанность

Еще при жизни Фрейда стали происходить глубинные сдвиги в психотерапевтической антропологии. Заселяя открытый Фрейдом материк новой психотерапии, колонисты стали открывать земли, очень не схожие с той, на которую высадился Фрейд. Пожалуй, наиболее радикальные отличия были обнаружены психодрамой Джекоба Морено. Сам способ и стиль жизни психодраматической провинции был дерзким вызовом психоаналитической метрополии. В самом деле, можно ли представить что-нибудь более радикально отличающееся от канонической психоаналитической кушетки, чем психодраматическая сцена, от замершего на кушетке одинокого пациента, чем играющий в окружении членов группы протагонист, от смотрящего в сторону нейтрального аналитика, чем активно управляющий процессом директор психодрамы? Эти и другие отличия столь очевидны, что здесь можно их опустить, сконцентрировавшись на важнейшем для нас. Психодрама вовсе не уповает на то, что пациент проникнет холодным рассудком в тайные глубины своей души, она уповает на творческую спонтанность, на то, что сами эти глубины, все человеческое существо хочет выплеснуться наружу в фантазии, игре, действии, и стоит только помочь этому процессу, как он своей мощной целительной стихией изольет в творческом спонтанном выражении все то, что наболело, что сдерживалось, откладывалось, хирело в челове-

ке, и принесет тем самым ему не только избавление от страдания, но полноценное творческое самовыражение.

Если Зигмунд Фрейд открыл материк свободы для психотерапевтической антропологии и сам исследовал и использовал ту часть этого материка, которую можно назвать Свободой Сознания, то Джекоб Морено стал режиссер-губернатором республики Свобода Воли. Разумеется, это не та сознательная, разумная и в то же время напряженная и скучная воля, которая ищет закон, необходимость и видит свою свободу в том, чтобы следовать этой необходимости и закону. Это, так сказать, вольная воля, анархическая, не спрашивающая ничего позволения, и не потому, что, как писал Лев Шестов, если спросишь — позволено ли, разумеется, не позволят, а потому, что самого такого вопроса в своей вольной природе она не имеет. Спонтанность — это первичная, как бы до различения добра и зла действующая воля, это творчество как первофеномен, созидающее бытие из ничто, рождающее начало, даже и не думающее спрашивать, что хорошо, а что плохо, что запрещено, а что позволено, просто рождающее и наслаждающееся самим этим процессом.

Когда в философской и психологической литературе обсуждается свобода воли, то общепринято различать разумную сознательную волю, с одной стороны, и произвол, с другой. В первом случае человек опирается на познание бытия, причем это не обязательно рациональное, рассудочное познание — это может быть интуитивное, опытное постижение бытия, мудрость, но так или иначе речь идет о том или другом роде знания, действуя в соответствии с которым он обнаруживает и реализует свою подлинную человеческую свободу. Во втором случае человек действует, нарочито не считаясь с религиозными заповедями, установлениями общества и даже с законами природы, лишь на одном-единственном основании своего желания, каприза. «Хочу» — вот автор, ини-

циатор и безответственный исполнитель акта произвола. При всей радикальной противоположности разумной воли и произвола их сближает то, что оба эти акта уже, так сказать, лишены невинности, наивности, непосредственности, они уже — плод борьбы высшего и низшего в человеке, разумного и неразумного, мудрого и глупого, только в одном случае победило высшее, а в другом — низшее, в одном — разумное, а в другом — безрассудное, в одном — зречее, но остывшее, в другом — горячее, но слепое. Произвол, желание, каприз не то что не знают нормы, но нарочито не хотят знать. В отличие от них обоих спонтанность — это, повторим, «вольная воля», самодействующее бытие, биение самой жизни из глубочайших ее истоков и слоев, где не только не сорвано яблоко, но не посажено еще древо познания добра и зла. Спонтанность не знает закона, но и не знает греха, ее метафора — это ветер, который как дух веет где хочет, по пути вращая мельницы, надувая паруса, срывая крыши, но не почему-то и не зачем-то, не «за» и не «против», а просто — так есть. Потому-то когда приходится встречать человека, наделенного этим даром первичной свободы, человека не по выучке, не по подвигу и не по заслугам, а именно даром природным спонтанного, то просто чувствуешь, как рядом с ним легко дышится, как развиваются сумрачные, угрюмые, тяжеловесные мысли, ограничения, предписания, каким легким становится шаг и дальним — взор. Такому человеку намного легче прощают причиненное им зло, чем иному натужному праведнику, силою воли выдавливающему из себя добро. Вот этой-то первичной спонтанностью и объясняются прежде всего терапевтические эффекты психодрамы, разумеется, в той мере, в которой она сама реализует этот исходный принцип спонтанности, а не прибегает, как это в обычной эклектической практике сплошь и рядом бывает, к иным принципам и иным механизмам, тоже имеющим психотерапевтический потенциал.

Итак, если старая суггестивная психотерапия уповала на внушаемость, объединяющую в себе две несвободы, два рабства: согласие с тем, что «врач знает лучше», то есть послушание сознания, и подчинение ему в поведении, то есть послушание воли, — то новая психотерапия начинает уповать на свободу сознания и свободу воли.

Переживание

В послевоенной, новейшей психотерапии происходит еще один радикальный сдвиг в психотерапевтических упованиях, который к 1960-м годам — времени оформления гуманистической психотерапии — становится определяющим во всем психотерапевтическом мире. В своей клинической практике психотерапевты все более начинают надеяться на *переживание* пациента. Независимо от того, прорабатывается ли эта категория в той или другой психотерапевтической школе так же явно, как в гештальттерапии или в клиенто-центрированной терапии Карла Роджерса, практически всюду складываются разные варианты единого представления о переживании как особом внутреннем жизненном процессе, захватывающем эмоции человека, его ум, воображение, волю, вовлекающем в свой поток кроме душевных и телесные функции. Именно этот процесс переживания, по новым воззрениям, и обеспечивает, в конечном итоге, терапевтический эффект.

Если попытаться, не фиксируясь на той или другой теории, прямо развивающей представление о переживании (*Gendlin, 1962; Василюк, 1984*), создать нечто вроде гальтоновской фотографии⁷ этой категории, фиксирую-

⁷ Ф. Гальтон методом наложения фотографий членов семьи пытался выявить их общие, родовые черты. — *Прим. ред.*

щей только общие, семейные ее черты и стирающей индивидуальные различия, то мы увидим вот что. Это процесс, во-первых, *тотальный*, то есть охватывающий, как только что было сказано, ум, чувства, воображение, телесные реакции, — словом, всего человека. Во-вторых, *субъективный*, в том смысле, что человек непосредственно ощущает его, внутренне живет им, не отделяет его от себя и чувствует его как реальность, которая удостоверяет самое себя, является самосвидетельствующим бытием, не нуждающимся ни в каких внешних подтверждениях и не приемлющим никаких внешних опровержений. Слово, обращенное к переживающему человеку, которое не учитывает феноменологической самоочевидности его переживания и пытается разуверить, разубедить, успеха не имеет, оно кажется оскорбительным в своем недоверии и отторгается, независимо от того, что вызвано оно может быть самыми благими намерениями. В-третьих, *непроизвольный*, в том смысле, что субъект не предписывает себе что-то переживать или не переживать, этот процесс разворачивается в нем и захватывает его сознание без предшествующих намерений и целеполаганий. В-четвертых, *продуктивный*. Переживание способно совершить переворот в человеческих представлениях, взглядах, установках, вкусах, позициях, во всем том, что человек не может изменить с помощью напряжений сознания и усилий воли. Если человека постигла утрата, тщетны апелляции к сознанию, убеждающие его в неизбежности и законотерпимости случившегося. И тщетны его собственные старания усилием воли «взять себя в руки». Он должен будет пройти через мучительный процесс переживания, должен будет дать совершиться в своей душе работе переживания и только тогда сможет заново ощутить осмысленность и полноту жизни.

Эти особенности процесса переживания, по мере того, как он становился главным упованием психотерапии, определили формирование совершенно нового стиля

психотерапевтической работы⁸ Складываются соответствующие описанным чертам переживания новые психотерапевтические методы и принципы. Чтобы их описать в обобщенном виде, затушевывая немалые различия различных терапевтических школ, тоже не обойтись без галтованской фотографии.

Новейшая психотерапия в соответствии с тотальным характером процесса переживания все в большей степени требует от терапевта широкого сознания и полимодальной наблюдательности. От его внимания не ускользнут ни неприметный вздох, ни сновидение, ни поворот головы, ни перемена в отношениях с близкими, ни даже случайные события, абсолютно невольным свидетелем или участником которых стал пациент. Эти случайные, казалось бы, события в «канале мира» (Минделл, 1993) являются такими же важными симптомами и, главное, исполнителями его тотального процесса переживания, как случайные обмолвки в психоанализе являются знаками проговорившегося бессознательного.

Однако психотерапевтическим ответом на тотальность процесса переживания является не только изоощренная наблюдательность и «расширенное» сознание психотерапевта, но совершенно иной по сравнению с прежними психотерапевтическими эпохами способ личностной включенности терапевта в психотерапевтический процесс. Не зря психотерапия Карла Роджерса, названная сначала «индирективной», а затем «клиенто-центрированной», получила в конечном счете наименование «личностно-центрированной». Это итоговое имя выражает убеждение одного из лидеров новейшей психотерапии, что целост-

⁸ Конечно же, дело обстояло не так, что психологи изучили процесс переживания и уж вслед за этими исследованиями и в соответствии с ними началось преобразование методов терапевтической практики. Психотехническое познание развивается по другим законам (см. Пузырей, 1986; Василюк, 1992).

ное вовлечение личности самого психотерапевта в терапевтический процесс является не вынужденной уступкой неустранимой реальности трансферентных отношений, а самоценным ядром психотерапии, без которого невозможны подлинные и благие изменения в личности пациента. Вся радикальность этого переворота в должной степени еще не оценена теорией и философией психотерапии, этой оценке мешают вполне понятные внутренние тенденции, заставляющие психотерапевтов и теоретически, и методологически, и идеологически (*Варга*, 1994) бороться за то, чтобы ни в коем случае не взять на себя избыточной личной ответственности за терапевтический процесс и, особенно, за изменения в личности, жизни и судьбе пациента.

Не вдаваясь в подробное обсуждение этой темы, лишь зафиксируем попутно имеющуюся здесь проблему. Спору нет, психотерапевт, как и любой человек, не должен брать на себя больше, чем он может понести. Нет спору и в том, что вредно потакать инфантильным тенденциям пациентов, стремящихся порой переложить ответственность за свою жизнь на терапевта, — это азбука. Если бы дело ограничивалось этими азбучными истинами, то откуда бы взялся тому пылу, с которым психотерапевты иногда бросаются отстаивать свое право и даже обязанность оставаться личностью с ограниченной ответственностью, и в то же время долг пациента — становиться личностью с безграничной ответственностью за все плоды и следствия участия в психотерапевтической работе. Пыл этот, кажется, связан вовсе не с теоретическими воззрениями и не с прагматической целесообразностью, он как-то связан с собственной личной, духовной жизнью психотерапевта, с тем, где и как он проводит границы своей ограниченной ответственности и перед чем или перед кем он по своей совести эту ответственность несет, перед кем держит ответ.

Субъективности процесса переживания в новейшей психотерапии соответствует принцип феноменологическо-

го доверия (см. Роджерс, 2002). Это готовность принимать свидетельства субъективного опыта пациента в их *таковости*, не как знак чего-то иного, что должно быть дешифровано и упразднено, а как самодостаточную реальность, которая может рассчитывать на уважение и доверие. Речь, конечно, не о наивной вере психотерапевта в то, что соседи пациента-психотика в самом деле выстроили гиперболоид и по ночам облучают его через стенку, а о том, чтобы принимать за реальность испытываемый человеком ужас и сопереживать этому чувству, не менее страшному от того, что домовый комитет может поручиться за добропорядочность, а то и за отсутствие соседей за стенкой.

Наконец, произвольности переживания и его продуктивности соответствует такая стратегическая установка новейшей психотерапии, как следование за процессом. Если психотерапевт убежден, что подлинные и плодотворные изменения сознания и личности пациента обеспечиваются продуктивной работой процесса переживания, то он должен превратиться в такого же **послушного** в буквальном смысле слова участника психотерапевтического процесса, как послушен поэт, ничего не выдумывающий, а именно всем напряжением своего существа вникающий сквозь шумы случайностей и произвольностей в реальнейшую истину звучащей стихотворной мелодии, как послушен саморазвертывающемуся сюжету романиста, которого сплошь и рядом удивляют его герои, как послушен даже — по парадоксальной мысли Осипа Мандельштама (1987) — дирижер оркестру.

Коммуникация

Кроме переживания еще одна категория человеческого бытия стала в новейшей психотерапии фокусом теоретических построений и замечательных психотехнических находок. Речь о категории **коммуникации**. Вообще

говоря, можно было бы заново переинтерпретировать всю историю психотерапии в ее главных узловых моментах с коммуникативной точки зрения, представив ее как ряд изменений в способах построения терапевтического диалога между пациентом и терапевтом. Такая интерпретация истории была бы продуктивна, а потому справедлива, но тем не менее сама эта диалогическая парадигма начинает занимать все более весомую позицию лишь в послевоенной психотерапии, постепенно распространяясь с области психотерапевтических отношений и взаимодействия между терапевтом и пациентом, то есть с области, принадлежащей коммуникативным воззрениям как бы по естественному праву, на другие области и аспекты психотерапии. Она заявляет свои притязания на то, чтобы именно ей был предоставлен заказ на формирование психотерапевтических представлений даже о таких, как раньше казалось, вполне «монологических» вещах, как личность пациента, причины душевных расстройств и результаты терапевтического процесса.

Творческий потенциал этой парадигмы, как выяснилось, оказался настолько велик, что превзошел все самые смелые ожидания. Она дала такие изящные, яркие и убедительные теории и позволила развить такую эффективную технологию психотерапевтической работы, что к восьмидесятым годам стало складываться впечатление, что психотерапия может все, что она может творить чудеса не только в своей исконной вотчине — клинике неврозов, но и в других, самых горячих точках современной социальной жизни, где, казалось бы, уже никто и ничто не может помочь. Психотерапия — это последнее дитя европейской культуры XIX века — вошла в пору своего цветения и с легкостью гения стала браться за разнообразнейшие проблемы от примирения десятилетиями враждующих общин и наций (например, Карл Роджерс в ЮАР) до лечения рака, от создания сверхэффективных методов обучения до помощи коматозным больным и больным с

многолетним глубоким шизофреническим дефектом, к которым традиционный медицинский персонал давно уже привык относиться как к муляжам с работающими физиологическими системами.

Особенностью этого звездного периода новейшей психотерапии, сделавшего слово «невозможно» редким анахронизмом, явилось то, что все эти чудеса творились не тремя-четырьмя психотерапевтическими небожителями, успех которых всегда можно было бы «объяснить» наиболее убедительнейшей апелляцией к имени: «Так это же Вирджиния Сатир (Карл Роджерс, Фриц Перлз)!»⁹, а многими и многими уже не обязательно отмеченными особой харизмой, но всего лишь способными мастерами, успешно освоившими и творчески развившими опыт своих гениальных учителей. Например, столь популярное у нас до недавнего времени нейролингвистическое программирование представляет собой по исходному замыслу попытку поставить на конвейер производство психотерапевтических гениев за счет того, что взятые из работы великих харизматических мастеров вытяжки⁹ эффективных коммуникативных терапевтических стратегий вприскивались в рядовые головы (а то и в спинной мозг) психотерапевтических новобранцев. Эксперимент этот, можно сказать, удался, с той только оговоркой, что вместо гениев конвейер этот исправно выпекал и выпекает психотерапевтических бройлеров, вполне мускулистых и жизнерадостных, хоть и отмеченных каким-то клеймом диетичности и безликости, по неистребимому закону природы сопровождающему все, в чем тайна и таинство заменены на рассудок и механизм.

Мы не можем останавливаться здесь на критическом анализе нейролингвистического программирования, хотя спокойный, трезвый и систематический анализ этого феномена остро необходим нашему терапевтическому со-

⁹ Метафора В. Н. Цапкина (в личной беседе).

обществу. Однако с каким бы пренебрежением или восторгом мы ни относились к нейролингвистическому программированию, нужно признать за исторический факт то, что именно эта психотерапевтическая школа создала предпосылки для превращения психотерапии в массовую профессию. Такое превращение — важнейшее событие в нашей профессии, от которого зависит ее судьба. Количество профессионалов в той или другой области — значимый исторический фактор независимо от их качества. (По душе нам или нет, что справочник Союза писателей по своей толщине если не достигает «Войны и мира», то вполне конкурирует с «Бесами», в то время как Писателей едва ли стало больше, чем во времена, когда зарождалась психотерапия, но для множества людей, от читателей до издателей, это количество является значимым, серьезным фактом, без знания которого понимание так называемого литературного процесса было бы по меньшей мере неполным.) И вот этой новейшей особенностью своего профессионального облика — массовостью — психотерапия обязана во многом именно коммуникативной парадигме, которую создатели НЛП Р. Бандлер и Дж. Гриндер, ученики Грегори Бейтсона, применили к методологическому анализу терапевтического процесса.

Конечно, коммуникативным стилем мышления блестяще владел уже Зигмунд Фрейд. Большинство его метафор, и даже такие важнейшие для психоанализа категории, как «Я», Цензура и др., имеют явно коммуникативную природу. Это стало понятно еще в ранних бахтинских анализах фрейдизма (*Волошинов, 1927*), однако именно в парадигматическую категорию психотерапии коммуникация превращается постепенно, достигая полной мощи в методологических изысканиях Грегори Бейтсона и лингвистическом психоанализе Жака Лакана.

Коммуникативная парадигма, повторим, начинает формировать не только представления о процессе взаи-

модействия пациента и терапевта, что более чем естественно, но и понимание природы личности, причин психопатологии и даже результатов психотерапевтического процесса. Что касается представлений о человеческой личности, то она начинает рассматриваться как сплошь состоящая из «диалога голосов», как полифония, как «словшество» (Ж. Лакан), то есть такое существо, сами «клетки» которого есть по природе — слова, а интимнейшие обменные процессы — речь, обмен словами, диалог. Насколько распространенным и продуктивным диалогическое понимание личности оказалось в психотерапии, показывает замечательная работа В.Н. Цапкина «Личность как группа — группа как личность» (1994). Наиболее наглядным примером коммуникативного понимания этиологии некоторых психических расстройств является представление о «двойном узле» (Бейтсон и др., 1993), с помощью которого «шизофреническая мать» формирует шизофренические структуры у своего ребенка.

Столь же ярким примером коммуникативного представления о результате психотерапии является знаменитая формула Жака Лакана, по которой «субъект начинает анализ с того, что он говорит о себе, но обращается при этом не к вам, или он обращается к вам, но говорит не о себе. Если он способен говорить о себе и обращаться при этом к вам, значит, анализ завершен» (Lacan, 1966, p. 261). Эта формула звучит чрезмерно парадоксально только вследствие трудноискоренимой натуралистической привычки мыслить все, а уж в особенности такие серьезные вещи, как результат лечения, в терминах объективных и объектных. Однако по своей глубине и точности эта формула смело может быть причислена к золотому фонду психотерапевтической мысли. Значение этой краткой и емкой формулы трудно переоценить. Как маленькая железнодорожная стрелка, она отправляет на свалку эшелоны путаницы и

глупости, которые накопились и продолжают производиться на солидном предприятии под названием «Научные Исследования Эффективности Психотерапии», освобождая путь для теоретически плодотворного и практически удобного решения этой проблемы. Искать его нужно не в старом тупике, где трудоемкими усилиями с помощью новейших компьютеров и изощренных статистических программ добывается нелепый с психотерапевтической точки зрения материал только потому, что он так желателен для страховых касс и ответственных за психотерапию чиновников, требующих «объективных критериев» в деле, вся суть которого, вся объективность которого — субъективна. Решение этой проблемы, как открывает нам формула Ж. Лакана, находится совсем в другом горизонте, не там, где мы тщимся помимо личности и сознания пациента определить, что в нем было до и что есть после курса психотерапии, а там, где мы сами являемся участниками и фигурами его речи, его человеческого слова о самом себе. Раздражение чиновников, которым по долгу службы нужно, чтобы сошлись все нули, вполне понятно, так же, как и понятно негодование «чистых ученых», воспринимающих отсутствие ясных, однозначных, объективно фиксируемых результатов психотерапии как недомыслие или шарлатанство. Но любому непредвзятому человеку, даже несведущему в психотерапии, но по роду ли занятий или по личному опыту знающему всю мощь человеческого слова, которое способно передвигать горы, оживлять мертвых, равно как и, увы, убивать живых, мысль, что об успехе психотерапии можно (и нужно!) судить по тому, как сам пациент стал способен говорить о себе и о своих проблемах, покажется убедительной и верной.

Подытоживая рассуждение о диалогической парадигме, можно сказать, что она создала не просто новое «упование», а как бы изнутри преобразила саму эту категорию

упования. Под «упованием» мы до сих пор имели в виду тот процесс на полюсе пациента, стимулируя, вызывая, фасилитируя который психотерапевт мог рассчитывать на достижение психотерапевтических результатов, но с воцарением диалогической парадигмы само это представление о двух отдельных, хоть и взаимопереплетенных процессах — процессе психотерапевтического воздействия и некоем продуктивном психическом процессе в самом пациенте — претерпевает изменения. Психотерапевтический процесс начинает мыслиться не как взаимодействие, сочетание, связь двух букв, например «м» и «ы», а как жизнь целостного слова «мы», которое не разлагается на части без потери смысла. Когда Милтон Эриксон (1995) обещает пациенту: «Мой голос будет с вами», — он тем самым лишь явно выговаривает то, что реально происходит не только в эриксоновской терапии, но и в любой другой. Психотерапия не влияет на сознание пациента так, чтобы мы отдельно могли каким-то образом зафиксировать психотерапию, отдельно сознание, и затем оценить, как сознание изменилось после психотерапии. Психотерапия и сознание взаимно опосредуют друг друга, соединяются своими кровеносными системами так, что никакой «психотерапии» после встречи с этим пациентом не существует, а существует только реальный психотерапевтический случай именно с этим пациентом. Равно как и не существует никакого «сознания пациента» после психотерапии. Коль скоро психотерапия состоялась (в том смысле, в котором можно сказать, состоялась ли Поэзия в этом стихотворении), сознание пациента вобрало в себя голос, личность, мысль, — словом, дух совершившейся психотерапии

Конечно, и внутри самой диалогической парадигмы неизбежны эксцессы натуралистического мышления и адекватного ему механического действия, и тогда упование психотерапии вновь начинает растягиваться по отдельным полюсам. Тогда на полюсе пациента обнару-

живается «внутренний диалог», организация, стимулирование и усовершенствование которого и мыслится, собственно, как процесс, обеспечивающий психотерапевтический результат. На другом полюсе, который может быть представлен радикальными адептами НЛП, упование вообще перетягивается на действия терапевта, так что любой неуспех терапии квалифицируется просто как неумение или ошибка психотерапевта. Тем самым неявно утверждается предельная вера в технологию, которая, нивелируя сразу две личности — и терапевта, и пациента, объявляется принципиально самодостаточной и стопроцентно гарантирующей успех, если соблюдены все операциональные инструкции. Разговоры о каких-то тайнах и глубинах личности психотерапевта и личности пациента, которые могут вопреки технологии сказать свое последнее слово, иронически объявляются с позиций радикального коммуникативного техницизма нелепым оправданием собственной неумелости, равносильным ссылкам механика, неспособного отремонтировать автомобиль, на «капризы» двигателя (Бандлер, Гриндер, 1995).

* * *

Если попытаться бросить общий взор на все эти исторически сменяющие друг друга психотерапевтические упования, то мы заметим, что при появлении каждого следующего предыдущие вовсе не выходят из обращения в мире психотерапии. Среди пестрых флагов психотерапевтических школ до сих пор можно встретить такие, которые несут на себе те же самые девизы, что были начертаны на знаменах раннего психоанализа или психодрамы. Появляются и системы, дающие новые версии старых упований. Так, например, когнитивная психотерапия при всей ее чуждости психоанализу в известном смысле является дериватом психоаналитического упования на процесс осознания, возлагая надежду в своей практике на то, что осознание «автоматических мыслей» и разного рода «пред-рассудков» может восстановить адекватное мышление пациента.

Сейчас наблюдается все более заметная эклектическая тенденция. Различные психотерапевтические школы, сохраняя номинальную организационную обособленность и держась институциональных барьеров, сближаются по своему составу, технике и теории, многое заимствуя, а многое открывая независимо друг от друга. Эта эклектическая тенденция касается и того параметра организма терапевтической школы, который мы назвали «упованием». Многие направления, претерпевшие особенно бурное развитие в последние десятилетия, одновременно опираются сразу на несколько упований. Например, эриксоновская гипнотерапия достигает блестящих психотерапевтических результатов за счет комбинирования двух из проанализированных упований — внушаемости и переживания. Индирективный гипноз М. Эриксона создает такое состояние сознания пациента, в котором интенсифицируются, буквально расцветают внутренние процессы продуктивного переживания пациента. Вводимые психотерапевтом в виде метафор, притч и анекдотов терапевтические установки и образы релевантны этому живому процессу переживания, опосредствуют его и именно поэтому оказываются настолько действенными в отличие от прямолинейных внушений старой, дофрейдовской суггестивной психотерапии, молчаливым условием которой являлся отказ пациента от своего знания, своей воли и своих чувств, — словом, в известном смысле отказ от своей личности. Новая индирективная гипнотерапия как раз создает благоприятнейшую среду обитания для переживания пациента, то есть для того внутреннего интимного личностного процесса, по которому человек понимает, что это именно *он* живет. Эриксоновская гипнотерапия открыла методы внушения, обходящиеся без порабощения личности пациента.

Хотя эклектические и интегративные тенденции порождают все новые сложные комбинации и создают все

новые варианты психотерапевтического искусства, наряду с ними продолжают воспроизводиться и древние, примитивные формы, которые, казалось бы, давно должны были стать уделом психотерапевтической палеонтологии. Более того, по своей жизнестойкости и массовости они не только не уступают более развитым и тонко организованным психотерапевтическим организмам, но порой начинают захлестывать и покрывать собою всю ту область, которая в сознании широкой общественности ассоциируется со словом «психотерапия». Самым наглядным примером этого рода может служить грандиозная империя кодирования, зародившаяся в захолустной Феодосии и покрывшая собой все пространства бывшего СССР. Такая скорость распространения этой примитивной формы психотерапии, такие финансовые обороты, которые, собственно, и привлекают из врачей и психологов все новых и новых рекрутов, являются чрезвычайно интересным материалом для социологического и социально-психологического анализа сознания современного постсоветского обывателя. Мы же с точки зрения проблемы упований психотерапии должны отметить, что так называемый метод кодирования является рецидивом самого старого из психотерапевтических упований — внушаемости.

* * *

Существует ли какая-то внутренняя логика в смене психотерапевтических упований? Хотя история психотерапии не может быть описана как линейный прогрессивный процесс, тем не менее можно усмотреть общую тенденцию, проступающую за сменой психотерапевтических вех. Если отвлечься от всех частных, подробностей, боковых ответвлений, возвратов конкретного исторического процесса, то главная линия, вокруг которой нервно пляшет стрелка исторического компаса психотерапии, ведет от раба к личности. Пример кодирования в наиболее выпуклой и грубой форме выявляет внутреннюю подоплеку, стоящую за голым принципом внушаемости. Это искушение рабством, соблазн вещиности.

В человеке есть стремление к рабству, желание отказаться от ежедневных усилий самому быть человеком и другого воспринимать как личность. Человечность существования «берется силою», начиная от вертикального положения тела, требующего непрерывного волевого усилия, и заканчивая молитвой, собеседованием с Богом. Но так часто нам хочется отдаться лени, отказаться от человеческого призвания, сесть, а лучше — лечь, расслабиться, прикрыть глаза, так часто хочется как-нибудь механически закрепить достигнутый ценой прежних усилий успех, чтобы наш статус или опыт, знания или звания, знакомства или привычки, наконец, потрудились бы за нас. Так удобно бывает другого воспринимать как роль, функцию, болезнь, характер, должность, типаж и т.д., а не как личность. Если тенденция «бегства от свободы», бегства от личностного бытия является общераспространенной человеческой слабостью, то в клинике алкоголизма и наркомании (почти полностью оккупированной в 90-х годах методом кодирования) эта тенденция особенно сильна. Волевое снижение является одним из важнейших симптомов токсикоманического уплощения личности. Метод кодирования вместо противодействия этой тенденции ее эксплуатирует и закрепляет. Весь ритуально-мифологический антураж метода приглашает пациента положиться на магическую силу кодирования, полностью отдаться на волю врача, поверить, что лечение совершится без его собственных усилий, без его человеческого участия. Механика прельщения проста и действенна: с одной стороны, болезнь, да к тому же болезнь социально и нравственно отвергаемая, с другой — быстрое, эффективное и социально поощряемое лечение — выбор очевиден, и нужно всего-то отказаться от своей испорченной воли. Пациент попадает в положение, где бродящий в нем и без того вирус рабства получает возможность беспрепятственно распространяться по всему душевному организму. И человек начинает внут-

ренне перерождаться в раба и даже вещь. Стоит вспомнить, что по-латински раб и вещь обозначаются одним словом «res». Спору нет, алкоголизм — страшная угроза для человеческой личности, но прямой акт отказа от собственной личности, входящий в структуру метода кодирования, отнюдь не безобиднее.

Это один, но, увы, не единственный пример, когда психотерапия служит деперсонализации человека. Однако главная тенденция исторического развития психотерапии состоит как раз в противостоянии тенденции к рабству и вещности. В этом ее глобальное культурное и антропологическое оправдание. Психотерапии может быть предъявлено множество серьезных претензий по части культивируемого ею образа человека, и все же безусловно надо признать, что она, как правило, не идет по пути наименьшего сопротивления, не пользуется тем, что пациент «сам обманываться рад», а ожидает и требует от него свободы и правды. Сами представления современной психотерапии о свободе, истине и личности часто ущербны и ограничены, но в меру своего разумения она призывает их к бытию. Психотерапия помогает человеку совершить усилие, чтобы увидеть тягостную правду о самом себе, совершить усилие, чтобы выйти за пределы невротической склонности бездумно подчиняться ожиданиям других людей или социальной группы, ожиданиям, не считающимся с реальным предназначением этого человека. Психотерапия, наконец, дает ему возможность выговорить правду своих чувств, которая тщательно скрывалась от окружающих и от самого себя. Психотерапия повсюду борется против фарисейской нормативности, и хотя при этом ее и заносит нередко в аморализм, но оправдание ей можно искать в том, что она ни на минуту не хочет оставить реальность душевной жизни, истину души, ибо верно чувствует, что между истиной, свободой и личностью есть интимная и неразрывная связь.

Когда пытаешься сквозь разноголосицу сменяющих друг друга психотерапевтических школ вслушаться в сокровенный смысл истории психотерапии, то начинает явно проступать та предельная ценность, которой призвана служить психотерапия. Каждая профессия оправдывается, в конечном итоге, какой-то высшей ценностью, и в отношении этой ценности должна прежде всего ориентироваться. Юриспруденция служит справедливости, наука — истине, искусство — красоте. Все они технически и фактически могут служить и другому: юридическое знание можно использовать для оправдания виновного и обвинений невиновного, наука может обслуживать войну и систему политического тоталитаризма, искусство может с успехом использоваться в коммерческих целях (реклама, например). Так и психотерапия — она может служить и фактически служит и здоровью, и бизнесу, и той же рекламе, но высшая, предельная ее ценность несводима и невыводима из этих ограниченных целей и задач. Герой одной сказки, которого соблазняют продать волшебную дудочку, отвечает, что она не продажная, а заветная. Имея в виду это замечательное различие продажного и заветного, можно сказать, что психотерапия может делать и делает многое на продажу, выживая, как ей кажется, за счет этого «реализма» и «адаптированности», но в действительности *живет* она и оправдывается своей заветной, предельной ценностью. Имя ей — свобода личности. Речь, конечно, не о правах, а о **внутренней свободе личности** — свободе воли, сознания, совести, чувства.

Что дальше?

Итак, свобода личности — есть та аксиологическая вершина, к которой устремлен суммарный вектор истории психотерапии. Общая идея свободы как предельной ценности психотерапии нуждается, конечно, в систематической методологической, научной и технической про-

работке, однако потребность понять, как дальше пойдут магистральные пути развития психотерапии, побуждает, не дожидаясь результатов последовательного концептуального продумывания этой идеи, попытаться заглянуть в будущее с помощью живого примера, образа, символа свободы.

Ценности раскрывают свой подлинный смысл не в абстрактной форме, а в форме воплощенности в конкретном человеке, его жизни и целостном облике. Ценностная категория святости осталась бы пустой абстракцией без Сергия Радонежского или Франциска Ассизского. Для ценности «внутренней свободы личности» в русской культуре не найти более полного и совершенного воплощения, более убедительного образца, чем Пушкин. Но почему он? Что более всего вызывает это вдохновляющее чувство свободы, когда читаешь Пушкина или о Пушкине, — юношеские безумства? независимость перед лицом власти? политическое свободолобие? увлеченность цыганской вольностью? Нет, это все вторично. Первое же и главное — свобода слова. Свобода личности осуществилась в Пушкине, прежде всего, глубже всего и сильнее всего в свободе слова. Пушкин мог сказать обо всем, всё, всем и от всей полноты существа. Таковую свободу никто не может дать человеку, но никто не способен и отнять. Такая свобода слова — это не внешнее позволение говорить, а способ экзистенциального дыхания, способность *сметь* говорить вопреки всем внешним и внутренним запретам и способность *уметь* говорить вопреки стихии косности. Слово становится при этом творческим актом осуществления полноты жизни человека, а не только делом литературного творчества.

Но не того же ли хочет в пределе психотерапия, не в этом ли ее заветная мечта? Вдумаемся еще раз в лакановскую формулу, по которой анализ начинается с того, что пациент говорит не о себе и обращается при этом не к вам, а завершается тогда, когда пациент оказывается

способен говорить о себе и обращаться при этом к вам. Она выражает не только коммуникативный критерий эффективности психотерапии, но и антропологический идеал. То, что пациент в ходе психотерапии обрел и проявил свободу слова, сумел вобрать в свое слово свою экзистенцию, смог выразить себя в доступной полноте другому (психотерапевту), — замечательный факт, говорящий об успехе психотерапии, но неизмеримо важнее в этом факте свидетельство, что произошло не просто изменение способа функционирования пациента, а совершилось изменение самого существа человека, его способа бытия. Психотерапия, может быть, по-настоящему только к этому и стремится — открыть в человеке способность **суметь и сметь сказать себя**. Свобода слова приобретает при этом онтологическое звучание, требующее вспомнить, что человеческое слово есть глубочайший витальный акт, обладающий преобразующими энергиями. В глубоком и открытом высказывании себя человек не просто душевно укрепляется, исцеляется и обретает осмысленность существования, он изменяется в своем онтологическом ядре, вещное в нем, детерминированное вещными же стихиями, преобразуется в словесное, в логос, в смысл. И человек все больше становится тем, чем он и призван быть, — существом-словом, «словшеством» (Ж. Лакан).

В этом «суметь и сметь сказать себя», в этой внутренней свободе слова как предельной ценности психотерапии сконденсированы все упования, на которые она возлагала надежду в разных школах и направлениях в разные исторические периоды. «Суметь и сметь сказать себя» — это значит и доверить себя другому, это значит и осознать в себе подспудное, скрытое от поверхностного взора, это значит и творчески выявить в спонтанном проявлении свою глубину, это значит понять, принять и выразить свое переживание, это значит войти в свободный диалог с другим. Свобода слова в психотерапии — это синтез

доверия, свободы сознания, свободы воли, творческого переживания и диалога.

Но если *свобода слова* как интегральный символ *внутренней свободы личности* оказывается ценностной доминантой всего исторического развития психотерапии, то психотерапия должна по-новому взглянуть на самое себя, заново переосмыслить себя как культурную практику. Для этого стоит оглянуться вокруг и задаться вопросом, где еще, в каких сферах культуры свободное слово является центральным, жизненно существенным и незаменимым актом? Ответ очевиден — в поэзии и молитве.

Это сопоставление позволяет сформулировать прогностическую гипотезу: логика исторического развития психотерапии должна выдвинуть на первый план, в ряд главных психотерапевтических упований две категории — творчества¹⁰ и молитвы. ***Именно категории творчества и молитвы станут точками роста психотерапии, центрами кристаллизации принципиальных теоретических и методических инноваций.*** В связи с этим в наступившем столетии должны смениться культурные ориентиры психотерапии. Если при своем появлении на свет она ориентировалась на медицину как особый тип культурной практики, то теперь, согласно выдвигаемой гипотезе, такими образцами для психотерапии все больше будут выступать искусство и аскетика¹¹.

¹⁰ Ибо «поэзия» по изначальному смыслу греческого слова и по глубинной сути дела и есть «творчество».

¹¹ Заметим, что сама аскетика понимается в христианстве как искусство самостроительства личности. «...Аскетика как деятельность... — пишет свящ. Павел Флоренский (1990, с. 99), — святые отцы называли не наукою и даже не нравственною работою, а искусством, — художеством, мало того, искусством и художеством по преимуществу, — "искусством из искусств", "художеством из художеств"».

Что касается первого упования, **творчества**, то примеры психотерапевтических систем, сделавших творчество краеугольным камнем своего метода, уже имеются. Из отечественных можно назвать «Терапию творческим самовыражением» М.Е. Бурно (1989, 2003) и «Маскотерапию» Г.М. Назлояна (2001). Бурное развитие различных направлений арттерапии также находится в этом историческом русле. Здесь только требуется точная расстановка методологических акцентов. Психотерапия тогда вполне сможет реализовать и воплотить принцип творчества, когда это будет не просто вторичное использование различных искусств в психотерапии (как это чаще всего случается во многих арттерапевтических подходах), а когда она сама станет искусством, вбирающим в себя и синтезирующим в себе, если потребуется, другие искусства. Время от времени возобновляющиеся споры о том, является ли психотерапия «наукой» или «искусством», беспочвенны. Такая отнесенность — не предмет гаданий о якобы существующей данности, а вызов, задание, которое может быть осуществлено или не осуществлено. Психотерапия *может становиться* искусством¹².

¹² Творчество нашего замечательного психотерапевта В.Л. Леви (2001, 2002) являет пример осуществления этой возможности. Особая проблема — как подобное психотерапевтическое творчество воспринимается и оценивается в академическом контексте. Беллетристическая форма книг В.Л. Леви, его принципиальный отказ от академического мундира, стесняющего и ограничивающего творческую фантазию, не должны вводить в высокомерное заблуждение относительно научного уровня созданной этим блестящим автором психотерапии. «Психотерапия как синтез искусств» — так можно было бы назвать этот психотерапевтический проект — еще ждет своего художественного критика, который сможет адекватно объяснить и по достоинству оценить и эстетический, и научный смысл творчества В.Л. Леви.

Второе магистральное направление будущего развития психотерапии, по обсуждаемой гипотезе, связано с категорией **МОЛИТВЫ**. Хотя опыты создания психотерапевтических методов, ставящих в центр своих построений молитву, также уже существуют (см., напр., *Rose, 2002*), но этот факт не отменяет принципиального вопроса о том, может ли вообще психотерапия включать в горизонт своей теории и своего метода категорию молитвы, не разрушает ли она тем самым базовые условия своего существования, конституирующие психотерапию как самобытный культурный институт? В более общей форме это вопрос о том, нет ли радикального, неустранимого противоречия между психотерапией и религией, в частности между психотерапией и христианством. Речь именно о принципиальных отношениях, потому что на эмпирической поверхности, где для взаимных оценок выбираются случайные (хотя и распространенные) проявления, существует как огромное количество взаимных претензий и осуждений, так и немалое число примеров некритических «братаний» и нездоровых симбиотических слияний. При рассмотрении этого вопроса со стороны психотерапии его следует переформулировать таким образом: противоречит ли религия сущностным целям и ценностям психотерапии? Такая формулировка, в свою очередь, побуждает спросить: а откуда вообще психотерапия берет свои цели и ценности, каков их источник? Медицина ли это? Психология? Вообще — наука ли? К. Ясперс ответил на этот вопрос совершенно определенно: психотерапия, как и всякая практика, «зависит от науки только в своем осуществлении, но не целеполагании» (*Ясперс, 1997, с. 946*), цели же психотерапии определяет «религия (или ее отсутствие)» (*там же, с. 945*).

Если теперь применить это вопрошание об источниках не к целям и ценностям вообще, а к конкретной

ценности психотерапии, ставшей доминантой ее исторического развития, к ценности «свободы личности», то среди мировых религий мы можем назвать лишь одну, которая в центр своего богословия и своей антропологии ставит идею свободы и идею личности, — это христианство. Поэтому, коль скоро психотерапия хочет понимать самое себя не только в технической и конкретно-теоретической плоскости, но в идейной сердцевине своего существования, она должна выявить и прояснить свои отношения с христианством. Это не просто персональный интерес психолога-христианина, желающего быть конгруэнтным и согласовать свою веру и профессиональную аксиологию, но — центральная задача философии психотерапии¹³.

Первым в рамках этой задачи должен быть поставлен вопрос о «свободе слова», поскольку она является наиболее емким и близким для психотерапии выражением ценности «свободы личности». Свобода слова в смысле стремления человека к претворению себя в слово, превращению в «словшество», то есть в существо, пронизанное смысловым светом, логосом, духом, есть с точки зрения христианской антропологии не что иное, как стремление к осуществлению себя как образа и подобия Божия. Ибо если Бог есть Слово (*Ин*1:1), то и перед чело-

¹³ Значимость этой задачи косвенно подтверждается многими обстоятельствами. Тем, например, что психотерапия как культурная практика возникла и получила наибольшее распространение и социальное признание на Западе, в странах с преобладанием христианской религиозности. Немаловажен в этой связи и тот факт, что для отца современной психотерапии, З. Фрейда, был характерен не религиозный индифферентизм, а страстное отвержение религиозности. З. Фрейд, например, с горячей похвалой отзывался о борьбе большевиков с религией. Остается только надеяться, что основателю психоанализа не были известны подлинные масштабы и методы этой борьбы.

веком, желающим соединения с Богом, стоит задача стать словом, чтобы по самому своему «составу» быть сродственным Богу. Так понимаемая «свобода слова» в своем предельном (запредельном) выражении совпадает с последней целью христианской аскетики — обожением¹⁴.

Но при чем же здесь, спросят, психотерапия? Или иначе: разве не должна психотерапия, обнаружив духовную суть своей высшей ценности, остановиться на пути к ней либо из чувства протеста против всякой религиозности, либо из чувства благоговейной почтительности к святыне? Разве не должна она ограничить себя простыми и понятными задачами лечения, успокоения, адаптации и т.п.? Но даже если бы психотерапия и не захотела останавливаться, а продолжала бы дерзать на участие в предельных задачах христианской аскетики, то разве это было бы для нее возможно? Разве возможна психотерапия, которая помимо стремления к избавлению пациентов от симптомов, к преодолению их невротических проблем, к разрешению семейных конфликтов и к прочим полезным вещам чает ни много, ни мало — обожения человека? Возможна ли психотерапия, которая не просто мечтает об этом запредельном горизонте, а пытается действительно ориентироваться на такой антропологический идеал и реально вводить его в ткань конкретного терапевтического процесса? Всякому здравомыслящему специалисту ясно — невозможна.

Но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк18:27). Христианскую психотерапию нельзя мыслить как самодостаточную профессиональную деятельность, отличающуюся от прочих разновидностей психотерапии лишь

¹⁴ «"Учение об обожении есть центральная тема византийского богословия и всего опыта восточного христианства" (Архиеп. Василий)... Учение об Обожении являет собой самый максималистский и дерзновенный "религиозный идеал", какой можно представить» (Хоружий, 1995, с. 123—124).

тем, что она выбрала в качестве своей «идеологии», своего «мифа» именно христианское учение. В своей практике она мыслима лишь как орган и функция живого Тела Христовой Церкви. В своей теории она основывается на «синергийной антропологии» соработничества человека и Бога (см. *Хоружий*, 1995, 1998), которая является философским выражением святоотеческого богословия, и потому сама должна быть названа синергийной.

Синергийная психотерапия есть психотерапия в известном смысле несамодостаточная, неуверенная, негарантированная, она использует испытанные психотерапевтические приемы и механизмы, но не может положиться только на них, она выстраивает терапевтическую ситуацию с учетом известных по опыту закономерностей формирования терапевтических отношений, но отказывается верить, что игрой «переносов» и «контрпереносов» исчерпывается таинство встречи личностей, словом, она изначально не полна (ни в плане познания, ни в плане действия) и нуждается в восполнении. Это не какая-нибудь особо духовная, спиритуальная психотерапия, напротив, она — «нищая духом», и как у нищей у нее должна быть раскрыта ладонь. Такой ладонью является молитва. Молитва и есть главное упование синергийной психотерапии.

Здесь не место обсуждать конкретные варианты теоретической и практической реализации психотерапевтических систем, выстроенных в ориентации на молитву как главное психотерапевтическое упование. Это отдельная тема, для нашей же темы методологического анализа исторической смены психотерапевтических упований важно зафиксировать, что новое упование, как и в предыдущие периоды развития, не вытесняет старые, а лишь особым образом их организует. На разных этапах процесса синергийной психотерапии терапевтический диалог может опираться и на процесс осознания, и на спонтанность, и на переживание, может так и остаться на

этих уровнях, если молитва не родилась ни в душе пациента, ни в душе терапевта, но даже и в этом случае главным упованием и главным предметом заботы синергичной психотерапии остается молитва. (В заботе об отсутствующем и надежде на него нет ничего парадоксального: так мать может загодя заботиться о не родившемся еще ребенке и надеяться на него.) Идеальное, предельно желательное состояние терапевтических отношений в синергичной психотерапии можно назвать состоянием «согласной молитвы». Оно наступает, когда терапевт и пациент оказываются способны к такой степени личностной открытости друг другу перед лицом Бога и к такой степени солидарности по поводу смысловой доминанты жизни пациента, что это дает им хотя бы потенциальную возможность совместной, единой и искренней молитвы о смысловой нужде пациента. Чем больше психотерапевтические отношения приближаются к состоянию «согласной молитвы», чем больше молитва, в конце концов, высвобождается из кокона психотерапии, тем больше исполняются и в синергичной психотерапии, и в самой молитве — конечно, в преображенном виде — прежние психотерапевтические упования: полнота доверия, глубина осознания, спонтанность проявления, подлинность переживания и реальность Встречи.

Часть 2. Методологический анализ психологических теорий

2.1. Введение

Если в первой части книги предметом методологического анализа была та или иная психологическая категория, то во второй таким предметом становится психологическая теория.

В открывающей эту часть главе «От Павлова к Бернштейну» анализируется теория условных рефлексов И.П. Павлова. Разумеется, квалифицировать ее как *психологическую* не совсем точно и по существу, и из уважения к великому физиологу, решительно боровшемуся против всяческих попыток психологизировать закономерности поведения¹. Но, воспользовавшись американской классификационной ка-

¹ За «психологию» от И.П. Павлова доставалось как безвестным лаборантам, которых штрафовали за употребление психологических объяснений, так и маститым западным ученым. На знаменитых «средах» Павлов, увы, не стеснялся и был порой явно несправедлив. Вот, например, как однажды он «всыпал» одному из самых выдающихся психологических теоретиков Курту Левину: «В гештальтисты подбираются, по-видимому, специально поверхностные люди, такие как профессор К. Леви... У него никакой способности к анализу нет... Этот господин Курт Леви, — его стоит запомнить по его выдающейся глупости (Павлов, 1951—1952, т. 2, с. 570—571). Психологическое мыш-

тегорией «behavioral sciences», можно без смущения анализировать концепцию И.П. Павлова именно как поведенческую дисциплину, на статус которой она сама прямо претендовала. Не зря категория поведения была вынесена в заглавие одного из итоговых трудов И.П. Павлова: «Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных».

В этой главе читатель встретится с простым и надежным набором методологических инструментов, хорошо зарекомендовавшим себя в деле анализа психологических теорий. Набор этот включает в себя следующий ряд взаимосвязанных понятий: **онтология теории, основной идеальный объект, объект и предмет исследования, метод исследования.**

Нет смысла заранее давать определения этим понятиям, читатель найдет необходимые пояснения в тексте, а главное, увидит эти методологические средства в работе над конкретным концептуальным материалом.

С небольшими модификациями та же система методологических инструментов будет использоваться и в других главах этой части при анализе теорий Б.Ф. Скиннера, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе.

Как мерой для одного человеческого характера являются другие характеры, мерой для понятия — другие понятия, так мерой для теории — другая теория. Именно поэтому психологические теории анализируются в этой части книги не изолированно, а в со- и противопоставлении с другими теориями. Такой метод «сравнительного

ление долгое время было у И.П. Павлова на подозрении («Вероятно, у психологического мышления есть какие-то коренные недостатки, — считал он, — которые мешают ему плодотворно исследовать деятельность мозга» — там же, т. 3, с. 264), но справедливости ради надо сказать, что так было не всегда: И.П. Павлов покался за свою резкость и «несколько примирился» с психологией (там же, т. 2, с. 416).

жизнеописания» концепций, пожалуй, — лучший путь их методологической рефлексии. Его можно рекомендовать и для освоения теорий с чисто учебными целями, поскольку он позволяет не терять головы при встрече с красивой и убедительной концепцией и избежать невольного наивно-реалистического отождествления ее с тем, «как на самом деле». Кроме того, в ночь перед экзаменом можно не успеть изучить десять разных теорий, а на пять пар концепций хватит даже короткой июньской ночи.

2.2. От Павлова к Бернштейну*

Задачу данного исследования составляет методологический анализ развития проблемы поведения от теории условных рефлексов, созданной И.П. Павловым, до физиологии активности, разработанной Н.А. Бернштейном. Мы попытаемся выявить тот коренной сдвиг в физиологическом мышлении, который произошел, когда науки о поведении шагнули на очередную ступень, именуемую физиологией активности. Естественно, что только имея перед собой сам этот шаг в развитии физиологического понимания поведения, мы обретаем возможность рефлексивно оглянуться назад на исходную точку, от которой он был сделан, — теорию условных рефлексов — и выявить тот методологический каркас, который поддерживал, но, понятно, и сдерживал традиционное физиологическое мышление. Опираясь на гениальную² теорию Н.А. Бернштейна, не так уж трудно методологически препарировать учение об условных рефлексах и развенчивать его претензии на универсальное объяснение поведения. Но при этом автору меньше всего хотелось бы, чтобы при чтении этого текста складывалось впечатление о том, что роль и значение научных трудов И.П. Павлова недооцениваются, — они не нуждаются в аттестации. Просто для того, чтобы по достоинству оценить вклад И.П. Павлова в развитие физиологических знаний, необходимо было бы осуществить исследование обратного, ретроспективного

* См. примечание в разделе «Комментарии» (с. 227).

² Это не столько восторженная оценка, сколько констатация факта. Призываю в свидетели авторитет А.Р. Лурия, который говорил, что знал в жизни трех гениев — Л.С. Выготского, С.М. Эйзенштейна и Н.А. Бернштейна. Это свидетельство стоит дорогого, поскольку «выбор» у А.Р. Лурии, имевшего обширнейшие научные контакты и, в частности, с 18 лет переписывавшегося с З. Фрейдом, был очень большим.

порядка, подобное, например, тому, которое выполнено в книге П.К. Анохина «От Декарта до Павлова» (1945).

Структура и план исследования таковы.

Сначала мы осуществим первичный методологический анализ теории условных рефлексов И.П. Павлова. Анализ будет вестись по таким выделяемым в современной методологии науки звеньям научной теории, как онтология, объект, предмет, идеальный объект и метод исследования. Затем по подобной схеме будет проанализирована теория Н.А. Бернштейна, названная им «физиологией активности». Наконец, в завершающей части будет дано сопоставление методологий обеих концепций.

Несмотря на симметрию теорий И.П. Павлова и Н.А. Бернштейна в намеченном плане изложения, по отношению к задачам нашего методологического изыскания они занимают различное положение. Теория условных рефлексов и стоящая за нею философия являются главным предметом методологической критики. «Физиология активности» предстает как «плацдарм», с которого эта критика ведется, как образец физиологической теории, блестяще воплотившей совсем иные, необыкновенно плодотворные для исследования поведения методологические принципы. И хотя философско-методологические симпатии автора явно на стороне «физиологии активности», авторская позиция не совмещается полностью с голосом этого «положительного героя». Такой позицией, точкой зрения, с которой ведется исследование, является психологическая теория деятельности (Леонтьев, 1972). Хотя сама она почти не будет выходить на сцену, именно ее общетеоретическими потребностями и задачами, ее интересами к проблеме поведения и к тому, как ее решают смежные науки, ее собственными методологическими поисками мотивировано все исследование.

И. П. Павлов: теория условных рефлексов

1. Онтология

Онтологией мы называем общую картину изучаемой области действительности, которая имеется у данного исследователя. Для И.П. Павлова такой картиной является схема «организм—среда». Ведущее и определяющее отношение между элементами этой схемы — отношения уравнивания. Согласно И.П. Павлову, «основная задача организма — правильное ориентирование в окружающей среде, уравнивание с ней» (Павлов, 1951—1952, т.3, кн. 1, с. 169).

Это уравнивание, пишет Павлов, реализуется за счет «определенных реакций на падающие извне раздражения, что у более высших животных осуществляется преимущественно при помощи нервной системы в виде рефлексов. Первое обеспечение уравнивания и целостности отдельного организма, как и его вида, составляют безусловные рефлексы... Но достижение этими рефлексами уравнивания было бы совершенно только при абсолютном постоянстве внешней среды. А так как внешняя среда при своем чрезвычайном разнообразии вместе с тем находится в постоянном колебании, то безусловных связей, как связей постоянных, оказывается недостаточно и необходимо дополнение их условными рефлексами, временными связями» (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 2, с. 324).

Несмотря на некоторое косноязычие, в этом описании разворачивается величественная панорама сотворения онтологической картины и населения ее «идеальными объектами» — концептами, которым приписывается статус реального существования и особой значимости для научного исследования. Вначале сотворил Павлов среду и организм. И сказал: да будет организм уравниваться с нею. И положил: да будет среда посылать раздражения, а организм отвечать реакциями. И стало так. И создал он низших животных и высших по роду их и дал им не-

рвную систему. И повелел он высшим животным уравниваться со средою безусловными рефlekсами. Но среда была разнообразна и постоянно колебалась. И сказал он: нехорошо быть животному одному, лишь с безусловными рефlekсами, и образовал из них условные рефlekсы в помощь им, для установления временных связей.

Так была нарисована первичная онтологическая картина учения о высшей нервной деятельности. Основными идеальными объектами павловской онтологии являются безусловный и условный рефlekсы.

Собственно, речь здесь идет об одном идеальном объекте — рефлексе, поскольку открытие двух видов рефlekсов — условных и безусловных — на самом понятии рефlekса не сказалось³. Необходимо возможно более тщательно проанализировать это понятие ввиду того важнеешего места, которое оно занимает в структуре теории И.П. Павлова.

2. Основной идеальный объект (понятие рефlekса)

Рассмотрим это понятие в соответствии с тремя звеньями, которые выделяют в рефlekторной дуге, — афферентным, центральным и эфферентным. Начнем с последнего.

2.1. Абстракция простого движения

Что происходит в эфферентном звене рефlekса? Возбуждение эфферентной клетки, проведение импульса и, наконец, сокращение мышцы или выделение секрета. Самое важное в этом представлении — предполагаемая одно-

³ «Учение об условных рефlekсах бесспорно утвердило в физиологии факт временной связи... Через эту прибавку, конечно, никакого существенного изменения в понятии рефlekса не произошло» (Павлов, 1932. Цит. по: Анохин, 1945, с. 98).

значность связи между возбуждением клетки и конечным двигательным эффектом. Нажатие клавиши на пишущей машинке — отпечатывание буквы на бумаге — вот точная модель такой связи. Безразлично, как зафиксировать событие: можно сказать, что напечатана буква «А», а можно — что ударили по клавише «А».

Для анализа поведения с этой точки зрения безразлично знать, произошла ли данная реакция или возбуждена клетка или группа клеток в коре больших полушарий (КБП)⁴: зная одно, мы знаем другое, и наоборот.

В движении, за пределами передних рогов спинного мозга в принципе не может произойти ничего нового, чего не было бы уже в ЦНС. «Последняя инстанция движения — в клетках передних рогов», — прямо утверждает Павлов (1951—1952, т. 3, кн. 2, с. 141—142).

Такое представление, согласно которому двигательный эффект рассматривается как неизменное и простое, «точечное» событие, однозначно вызываемое другим столь же простым событием — возбуждением определенной зоны коры больших полушарий, — мы и называем *абстракцией простого движения*.

Все приспособительное поведение животного складывается из условных и безусловных рефлексов. Как известно, образование условного рефлекса состоит в установлении условной связи между ранее безразличным раздражителем и безусловной реакцией. Так что, когда такая связь установлена, организм реагирует на этот раздражитель, ставший теперь «условным сигналом», реакцией, которая раньше составляла эфферентное звено безусловного рефлекса. Из этого следует, что меняться в индивидуальном опыте могут только афферентные звенья рефлексов,

⁴ Ниже мы иногда будем пользоваться следующими сокращениями: КБП — кора больших полушарий головного мозга; ЦНС — центральная нервная система; ВИД — высшая нервная деятельность; УР — условный рефлекс; БУР — безусловный рефлекс.

эфферентные же животному и человеку даны от рождения и неизменны. Таким образом, выходит, будто арсенал готовых движений изначально заложен в организме и при возбуждении определенной клетки высвобождается соответствующее движение⁵.

В чем же тогда состоит для животного основная проблематичность приспособления? Чтобы приспособиться, ему необходимо и достаточно установить, какие из безразличных раздражителей соприсутствуют во времени или предшествуют каждому из безусловных раздражителей, реакция на которые уже, естественно, имеется; а далее отвечать этой реакцией на все эти новые, теперь уже условные, раздражители. Весь мир, таким образом, состоит для животного из сигналов потенциальных и актуальных, а упомянутая проблематичность приспособления — в установлении между внешними событиями отношений «сигнал—сигнализируемое».

Обнаружение сигнального характера работы больших полушарий было фундаментальным открытием и заслуженно принесло И.П. Павлову имя мирового ученого. Однако нельзя не заметить, что распространение этого принципа на все приспособительные поведения животного превращает реальное, деятельное освоение им действительности в информационное (причем лишь условное) ее усвоение. Отсюда становится понятным, почему в «основную задачу организма» из реальных функций И.П. Павлов включил лишь ориентировку (*Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 1, с. 169*). Вытекающий из этих положений примат восприятия над действием в теоретической картине павловского учения не привел, однако, к сколько-нибудь продуктивному развитию представлений о перцептивных процессах. Простое движение не требует сложного перцептивного обслуживания. Абстракция про-

⁵ Ср. с утверждением Дж. Уотсона, что у 5-6-дневного ребенка имеется уже весь репертуар движений взрослого человека (*Уотсон, 1926*).

стого движения привела с собою абстракцию простого восприятия.

2.2. Абстракция простого восприятия

В текстах И.П. Павлова встречаются постоянные синонимические замены терминов «раздражитель» и «возбуждение». Сигналом в одних местах называется событие во внешней среде («раздражитель»), в другом — состояние клетки в КБП («возбуждение»). Это обстоятельство свидетельствует о том, что их различие в каком-то смысле несущественно. Дело изображается так, будто каждое событие в среде имеет единообразное и полное представительство в мозгу, оно отображается состоянием некоторой клетки. Как в абстракции простого движения устанавливалось однозначное соответствие между возбуждением эфферентной клетки и движением, так теперь такое же однозначное соответствие устанавливается между внешним событием и возбуждением афферентной клетки. Это представление мы и называем абстракцией простого восприятия.

Восприятие с этой точки зрения по сути есть простое проникновение «снарядов» внешней среды через афферентные проводники в мозг. При таком положении дел всегда можно утверждать, что если в среде произошло некоторое событие, произошло и соответствующее событие в коре, ибо связь между ними однозначна. Эта однозначность, однако, отнюдь не свидетельствует об объективности отражения. Напротив, от афферентной функции совсем не требуется доставление объективно верной, содержательной информации, не требуется отражение реальных характеристик объекта, достаточно лишь сигнала о его наличии. Если в среде произошло безразличное для организма событие, всякое его отображение излишне, если же случилось событие, являющееся для организма безусловным или условным раздражителем, — важно лишь «проинформировать» организм об этом факте, а его перцептивное «исследование» лишено смысла,

поскольку врожденная реакция на него давно готова и от специфических характеристик объекта не зависит. Рефлекторная система будет работать правильно, если за каждым эфферентным ответом будет закреплён свой пусковой сигнал. Он может быть совершенно условным, содержательно не связанным ни с отображаемым событием, ни с вызываемой реакцией, и, тем не менее, успешно выполнять свою сигнально-пусковую функцию в рефлекторной системе.

Итак, абстракция простого движения, фиксирующая представление о врожденной предуготовленности двигательных актов организма и однозначной их вызываемости эфферентными возбуждениями, влечет за собой абстракцию простого восприятия. Восприятие, таким образом, сводится лишь к сигнально-пусковой функции. Выходит, что прижизненно образуемые в мозгу животного связи не отражают содержательных, предметных отношений между событиями среды, а отражают только временные и временные связи между ними. Поэтому эти связи и называются «условными». Следовательно, абстракции простого движения и простого восприятия порождают третью абстракцию — *условной связи*.

3. Предмет и метод исследования

Если онтологией И.П. Павлова является схема «организм—среда», а основным идеальным объектом в этой онтологии — рефлекс, то предметом его исследования — высшая нервная деятельность. «Мы последовательно изучаем, — пишет Павлов, — основные свойства корковой массы, определяем существенную деятельность больших полушарий...» (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 2, с. 170, 171). Учение об условных рефlekсах имеет дело с целым организмом (Анохин, 1945, с. 102), то есть непосредственный объект его исследования — целый организм и его поведение в среде. Центральная же нервная система и большие

полушария в частности — лишь органы, пусть особые и важнейшие, но органы этого организма. Естественно встает вопрос, как с точки зрения условно-рефлекторной теории относятся друг к другу деятельность этого органа (ЦНС, включающей в себя КБП), то есть высшая нервная деятельность, и деятельность целого организма по отношению к среде, его поведение?

После того как мы описали те абстракции, которые предполагает традиционное понятие рефлекса, — абстракции простого движения, простого восприятия и условной связи, согласно которым различие внешнего события (будь то движение животного или изменение в среде) и возбуждения (эфферентного или афферентного соответственно) в больших полушариях несущественно в силу однозначной связи между ними, после этого следовало бы ожидать, что окажется несущественным и различие высшей нервной деятельности и внешнего поведения. Для непредвзятого наблюдателя это методологическое предположение звучит более чем странно. Но И.П. Павлов, будучи последователен, это отождествление в самом деле осуществляет.

Вот что он говорил по этому поводу в докладе на XIV Международном физиологическом конгрессе в Риме в 1932 г.: «Эту реальную... деятельность больших полушарий с ближайшей подкоркой, деятельность, обеспечивающую нормальные, сложные отношения целого организма к внешнему миру, законно считать и называть вместо прежнего термина "психической" — высшей нервной деятельностью, внешним поведением животного...» (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 2, с. 222). Там же были сказаны такие, например, слова: «...Мы изучаем работу больших полушарий. Это изучение неумолимо стремится вперед без малейших препятствий, перед нами только разворачивается все более длинный ряд отношений, составляющих сложнейшую внешнюю деятельность высшего животного организма» (там же, с. 220). Отождествление ВНД с внешней деятельностью животного на страницах павловских

произведений встречается неоднократно (см., например, Павлов, 1951—1952, т. 4, с. 15). Это тождество настолько обескураживает, что возникает желание спасти методологическую репутацию теории условных рефлексов. И тогда во спасение можно сказать, что указанное отождествление носит не онтологический, а эпистемологический характер, то есть оно означает не то, что с точки зрения теории условных рефлексов ВНД и внешнее поведение — это одно и то же, но лишь то, что, зная все о деятельности больших полушарий, мы знаем все о поведении.

Иными словами, законы внешнего поведения лежат внутри организма, а именно в его нервной системе, в процессах, отправляемых мозговой тканью. Законы, которым подчиняются эти процессы, и есть законы поведения⁶. Подробно к этому положению мы вернемся ниже.

При анализе условных рефлексов, отмечает П.К. Анохин, «возможны были два пути: один — вверх, к более сложным актам поведения животного в его своеобразной экологической обстановке, другой — вниз, к физиологическим закономерностям, к деталям конструкции и к выяснению отдельных частных механизмов. С первых же шагов

⁶ «Говорить о рефлекторной деятельности как деятельности мозга можно только условно, ибо ее телесным субстратом служат "жизненные встречи" (Сеченов) целостного организма со средой. Ведь сама аналитико-синтетическая деятельность высших нервных центров производна по отношению к реальным действиям организма (конечно, регулируемым мозгом) в реальном времени и пространстве. Роль этих действий в расчленении и интеграции средовых раздражителей необъяснима двучленкой "внешнее—внутреннее". Поэтому ее приверженцы неотвратимо вынуждены перелгать на мозг ("внутреннее") как таковой всю работу по анализу и синтезу и говорить о рефлекторной деятельности мозга, а не взаимодействующего с объектом организма. Соответственно и процесс воспроизведения внешнего объекта в чувственном образе оказывается "внутренним делом" одних только нервных клеток» (Ярошевский, 1972, с. 99).

учения Павлов без колебаний принял второй аспект» (Анохин, 1945, с. 99). И здесь, на этом пути Павлов, по словам Анохина, столкнулся с серьезным противоречием в идее условного рефлекса. «С одной стороны, сложный приспособительный акт целого животного, с другой стороны — элементарный процесс нервной ткани: как сочетать то и другое и преподнести удовлетворительную концепцию, дающую возможность физиологического объяснения ВНД?» (там же, с. 101).

И эта задача была, по мнению Анохина, И. П. Павловым решена. С этим трудно не согласиться, Павлову действительно удалось решить эту, казалось бы неразрешимую, задачу. Средством ее решения явился созданный Павловым экспериментальный метод. Мы не будем останавливаться на процедурной стороне дела, она общеизвестна, а рассмотрим роль метода в павловской концепции. Метод здесь — то ядро, которое стягивает, цементирует и согласует между собой все остальные структурные компоненты теоретической системы. Главная его функция состоит в приведении в соответствие реального объекта исследования с идеальным объектом, что обеспечивает возможность получения знаний об интересующем Павлова предмете.

Объект исследования — животное, его целостный поведенческий акт, предмет же — деятельность больших полушарий, то есть одного органа исследуемого организма. Идеальным (в смысле предельно желаемым) экспериментальным объектом с точки зрения целей исследования был бы «очищенный» от тела, но сам по себе нормально функционирующий мозг. Однако создание такого экспериментального объекта — задача технически невыполнимая. Поэтому для того чтобы исследовать деятельность этого органа, необходимо было поставить животное в такие условия, при которых его функционирование как организма по возможности «втиснулось» бы в форму функ-

ционирования изучаемого органа, то есть все поведение было бы сведено только к высшей нервной деятельности.

Для этого в «материале» организма необходимо было воплотить абстракции, составляющие идею рефлекса, и в первую очередь абстракцию простого движения. Эта задача и была решена зажиманием подопытного животного в знаменитый привязной станок. На время эксперимента такое высокоразвитое животное, как собака, превращалось в лабораторный препарат, единственной возможностью взаимодействия которого с миром становилось слюноотделение.

Ниже нам представится возможность детально рассмотреть, как метод материализует абстракции теории условных рефлексов.

4. Методологические основания концепции И. П. Павлова

Из всего сказанного выше необходимо следует то центральное методологическое положение, на котором базируется павловское учение: законы и механизмы поведения лежат внутри организма, а именно в больших полушариях, это законы высшей нервной деятельности.

Можно, конечно, считать, что И.П. Павлов и ставил перед собой не задачу объяснения поведения животного, а лишь задачу «изучения свойств корковой массы». Но можно представить дело и следующим образом. И.П. Павлов потому решал задачу анализа нервных процессов, протекающих в больших полушариях, что считал: законы, объясняющие поведение, нужно искать в свойствах нервных процессов. Вторая трактовка кажется более вероятной: «...При анализе поведения высшего животного до человека включительно, — писал И.П. Павлов, — законно прилагать всяческие усилия понимать явления чисто физиологически, на основе установленных физиологических

процессов» (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 2, с. 183), то есть возбуждения, торможения, иррадиации и т.д.

Не будем, однако, гадать о намерениях ученого. Здесь утверждается только одно: даже если бы условно-рефлекторная теория была абсолютно адекватной для анализа «процессов мозговой ткани», то и в этом случае при распространении ее объяснительных схем на анализ *поведения* животного (а тем более человека) она неизбежно столкнулась бы с неразрешимыми трудностями, причина которых в принципиальной методологической установке. Установка эта была сформулирована чуть выше и, пожалуй, может быть названа **мозговым фетишизмом**. Перефразируя описание товарного фетишизма, данное К. Марксом (см. *Маркс*, 1967, с. 80—93), можно сказать, что в павловской теории мозг представляется самостоятельным существом, одаренным собственной жизнью и стоящим в определенных непосредственных отношениях к внешней предметной действительности. Большие полушария с их ВНД исследуются как самостоятельное существо, при этом реальное поведение, реальное телесное взаимодействие животного со средой служит лишь своего рода оптическим прибором, сквозь который и с помощью которого осуществляется наблюдение за деятельностью больших полушарий. Внешнее поведение при этом как бы лишается материальной предметности, делается лишь индикатором мозговых процессов и как таковое выпадает из научного рассмотрения, становясь «гносеологически прозрачным» (если воспользоваться термином В. Набокова). Дело представляется Павловым так: если в ситуации образования слюнных условных рефлексов мы объяснили (объяснили ли?) поведение животного с помощью физиологических процессов, то и всякое поведение объяснимо из законов этих процессов. При этом забывается, что сама экспериментальная ситуация создана таким образом, чтобы как можно более полно исключить активное предметное поведение животного,

превратив его в смотровое окошко, сквозь которое можно наблюдать «чистое» функционирование мозга⁷.

Словом, методологическая установка, названная нами мозговым фетишизмом, при объяснении внешнего поведения проявляется в поиске его законов в процессах мозговой ткани. При последовательном ее проведении она, однако, не останавливается на этом уровне, а стремится редуцировать законы уже этих процессов вплоть до последнего физикального их объяснения. Идеалом научного исследования для И.П. Павлова является «механическое толкование», к которому «приближается изучение всей действительности, включая в нее и нас. Все современное естествознание, — пишет он, — в целом есть только длинная цепь этапных приближений к механическому объяснению» (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 2, с. 249).

Считая разбираемый здесь вопрос о «мозговом фетишизме» крайне важным для четкого понимания той задачи, которую решала павловская концепция, и определения действительного места павловского учения в строе поведенческих дисциплин, поясним обсуждаемое здесь на примере.

Перед нами электрическое табло, на котором загораются надписи, например, рекламные сообщения. Подчиняются ли эти надписи законам электрического тока или каким-то другим законам? Ясно, что первые ни в коей мере не определяют того, какой текст появится на табло.

⁷ Вот что писал о подобной методологической опасности «объективной» экспериментальной науки А.А. Ухтомский: «В таких тонких делах, как "ВНД", экспериментатору приходится опасаться самого себя более, чем где бы то ни было, дабы не вывести потом "нормальных закономерностей" и "обязательных правил" на основании того, что наделал в опыте своими руками. Человек — поистине мощное существо: он изменяет среду вокруг себя в сторону своих субъективных данных еще прежде, чем заметит это и захочет этого» (Ухтомский, 1954, с. 34—35).

Равным образом и смены текста не влияют на законы электрического тока. Сопротивления проводников и емкости конденсаторов безразличны к разнице загорающихся слов. Однако функционирование табло как некоторой системы существенно зависит от того, какие слова должны в данный момент появиться на экране, — включают-ся связи между одними элементами и выключаются между другими, изменяется последовательность их работы.

В действующей системе можно выделить несколько «слоев», подчиняющихся особым закономерностям. Слой, законы которого определяют протекание электрических процессов, назовем «субстанциональным». Слой, в котором происходит детерминация появления именно этого сообщения на экране, будет слоем «актуальным». Между ними располагается вспомогательный слой — «функциональный», задачей которого является организация и реорганизация субстанциональных элементов и связей так, чтобы их функционирование реализовало процессы слоя «актуальности»⁸.

Что дает для нашей проблемы анализ этого примера? С помощью полученной методологической конструкции мы можем теперь в первом приближении указать ту действительную задачу, которую решал и мог при его методологических и методических средствах решить И.П. Павлов.

Исследовательский интерес теории условных рефлексов, как уже говорилось, фактически не выходит за пределы рогов спинного мозга в реальное взаимодействие животного с предметной средой. Может быть, анализ того, что происходит здесь, анализ реальных поведенческих

⁸ Сам пример и его анализ заимствуется из семинаров Московского методологического кружка под руководством Г.П. Щедровицкого, В.Я. Дубровского, О.И. Генисаретского. К сожалению, точно восстановить авторство этого примера не представляется возможным, но вероятнее всего он принадлежит А.А. Тюкову.

процессов ничего не прибавляет к нашему знанию о нервной деятельности? Да, для той задачи, которую фактически решает И.П. Павлов (независимо от его саморефлексии), исследования этих процессов несущественны. Он изучает законы процессов, происходящих в мозговой ткани, а они не изменяются в зависимости от изменения внешней деятельности животного, подобно тому как не изменяются законы электрического тока, реализующие работу компьютера, в зависимости от перемены программного обеспечения. *Функционирование мозга* меняется под влиянием осуществляемого поведения, а *законы протекания мозговых процессов* — нет.

Если мы видим, что камень летит вверх или падает вниз с ускорением, не равным g , это не значит, что мы присутствуем при нарушении закона всемирного тяготения. Однако действие этого закона во всей чистоте можно эмпирически наблюдать только при особых, идеальных условиях (отсутствии действия на тело сил сопротивления воздуха и других сил, кроме сил притяжения). В случае попытки анализа законов мозговых процессов в чистом виде таким приближением к подобным идеальным условиям явилась, как мы уже видели, ситуация образования слюнных условных рефлексов. Таким образом, действительной задачей исследований И.П. Павлова является, в нашей терминологии, изучение субстанционального слоя работы мозга как системы. Но как это ясно из примера, знание законов этого слоя несколько не приближает нас к проникновению в тайны других слоев, их особых закономерностей⁹.

⁹ Наглядную иллюстрацию этого положения можно найти у Ф.Г. Оллпорта. В статье «Структурирование событий» (Allport, 1954) он дает описание некоторого события на языке физических и физиологических законов. После почти двухстраничного их списка читателю предлагается идентифицировать это событие. Стоило, однако, только поставить задачу в таком виде, чтобы увидеть ее абсолютную

5. Рефлексы на свободе

Кажется, на научное понятие распространяются и закон Мерфи, и принцип Питера: если объем понятия может расти, он растет, и в этом росте понятие стремится достичь своего уровня некомпетентности.

Теория условных рефлексов не смогла, конечно же, ограничиться задачей анализа «мозговых процессов». «Мы имеем претензию, — писал И.П. Павлов, — все поведение животного объяснить физиологически» (Павлов, 1951—1952, т. 3, с. 227). Однако попытки вывести понятие условного рефлекса за пределы привязного станка и попытаться рефлексологически объяснить реальные психологические феномены оборачивались порой откровенным конфузом.

Приведем для примера попытку воспользоваться понятием рефлекса для анализа свободы и рабства. В мае 1917 г. Павловым совместно с Губергрицем был прочитан доклад в Петроградском биологическом обществе под примечательным заглавием «Рефлекс свободы». Вот фрагмент этого доклада: «Очевидно, что наряду с рефлексом свободы существует также прирожденный рефлекс рабской покорности... Как часто и многообразно рефлекс рабства проявляется на русской почве! Приведем один литературный пример. В маленьком рассказе Куприна "Река жизни" описывается самоубийство студента, которого заела совесть из-за предательства товарищей в охранке. Из письма самоубийцы ясно, что (что же ясно авторам? — Ф.В.) студент сделался жертвой рефлекса рабства, унаследованного от матери-приживалки. Понимай он это хорошо, он, во-первых, справедливее бы судил себя (то есть не позволил бы своей совести так укорять

неразрешимость. Оказывается же, событие состояло в том, что мальчик влез на стул, налил из графина воды и выпил ее. Почти буквальную аналогию такого описания представляет объяснение Павловым, например, чувства овладения (П. Жане) (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 2).

его за предательство, сославшись на дурную наследственность?! — Ф.В.), а во-вторых, мог бы систематическими мерами развить в себе успешное задержание, подавление этого рефлекса» (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 1, с. 345). В комментариях подобное рефлексологическое литературоведение не нуждается.

Коснемся еще одной «территории» за пределами привязного станка, куда попыталось шагнуть понятие рефлекса. Речь идет о цели и целевой детерминации двигательных актов. Важность этой темы в том, что категория цели приобрела особую значимость в последующих теориях П. К. Анохина и Н.А. Бернштейна, поставивших перед собой задачу физиологического объяснения активности животных.

6. Проблема цели

По существу И.П. Павлов обсуждал проблему цели всего один раз, в докладе «Рефлекс цели», сделанном на III съезде по экспериментальной педагогике в 1916 г. Центральное положение доклада заключалось в необходимости отличать акт стремления к цели от смысла и ценности самой цели (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 1, с. 307).

Текст этого доклада, прочитанного в несвойственной автору «менталистской» манере, можно трактовать очень по-разному. Не подкрепленный другими высказываниями И.П. Павлова по этому поводу и экспериментами, основанный лишь на житейских наблюдениях, он оставляет слишком большую свободу интерпретаций и, значит, опасность внести в его понимание чрезмерно много чуждых, быть может, докладчику представлений.

Поэтому обратим внимание лишь на то, что само словосочетание «рефлекс цели» противоречит как понятию рефлекса, так и понятию цели, обесмысливая и то, и другое¹⁰. Больше к обсуждению этой проблемы

¹⁰ «Рефлекс, — писал Л.С. Выготский, — понятие абстрактное; методологически оно крайне ценно, но оно не может

И.П. Павлов фактически не возвращался. П.К. Анохин объясняет это тем, «что сам факт возникновения цели для получения этого или иного результата вступает в принципиальное противоречие с основными чертами рефлекторной теории» (Анохин, 1975, с. 38), с ее последовательно-натуралистической методологией, добавим мы. Вот что пишет по этому поводу сам Павлов: «Видя развитие живой природы, проявление общего, нам еще не известного его закона, мы антропоморфически, субъективно, как вообще, так и на отдельных фазах, заменяем знание закона словами "цель", "намерение", то есть повторяем только факт, ничего не прибавляя к его настоящему знанию. При истинном же изучении отдельных систем природы, до человека включительно, из которых она состоит, все сводится лишь на констатирование как внутренних, так и внешних условий сущест-

стать основным понятием психологии как конкретной науки о поведении человека. На деле мы не кожаный мешок, наполненный рефлексам, а мозг — не гостиница, а сложные группы, соединения, системы, построенные по самым разнообразным типам.

В самом деле, рефлекс в том смысле, в каком он употребляется у нас, напоминает очень близко историю Каннитферштана, имя которого бедный иностранец слышал в Голландии всякий раз, в ответ на всякий свой вопрос: кого хоронят, чей это дом, кто приехал и т.д. Он в наивности думал, что все в этой стране совершается Каннитферштаном, между тем слово это означало только то, что его вопросов не понимали встречные голландцы. Вот таким свидетельством в непонимании изучаемых явлений легко может представиться иной "рефлекс цели" или "рефлекс свободы". Что это не рефлекс в обычном смысле — в том смысле как слюнной, — а какой-то отличный от него по структуре механизм поведения, ясно для всякого. И только при всеобщем приведении к одному знаменателю можно обо всем говорить одинаково: это — рефлекс, как это Каннитферштан. Самое слово "рефлекс" обесмысливается при этом» (Выготский, 1925, с. 179).

воования этих систем, иначе говоря, на изучение их механизма, и втискивание в это исследование идей цели вообще и есть смешение разных вещей и помеха доступному нам сейчас плодотворному исследованию. Идея возможной цели при изучении каждой системы может служить только как пособие, как прием научного воображения, ради постановки новых вопросов и всяческого варьирования экспериментов...» (Павлов, 1951—1952, т. 3, кн. 2, с. 187).

В приведенном отрывке мы видим различие цели как условного познавательного приема и как понятия объективно-онтологического. Признавая осмысленность и эвристичность первого употребления, И.П. Павлов решительно отвергает второе. Причина тому — методология механистического материализма, которой придерживался И.П. Павлов (отставая в плоскости философской рефлексии от своего собственного теоретического мышления, реализовавшего, по свидетельству М.Г. Ярошевского (1972), идеи более высокого порядка — идеи биологического детерминизма), а механицизм считает целевую связь не более чем идеалистически перевернутой причинной связью. А раз так, то признание ее реального существования влечет за собой признание влияния на ход событий будущего, то есть того, чего еще нет. Зная только такую цель, И.П. Павлов отвергает всякую возможность введения понятия цели в объяснение поведения.

Однако есть еще одна, не менее важная причина игнорирования этого понятия, прямо вытекающая из теоретических представлений И.П. Павлова. Как мы видели выше, исследования И. П. Павлова фактически отвлекаются (теоретически и методически) от рассмотрения реальных движений животного. «Цель же, — замечал еще Аристотель, — это цель какого-нибудь действия, а все действия сопряжены с движением. Так что в неподвижном не может быть этого начала (цели)» (Аристотель, 1975, с. 101).

Н.А. Бернштейн: физиология активности

В наши задачи не входит сколько-нибудь подробный анализ концепции Н.А. Бернштейна. Думается, она вообще должна еще подождать своего историка — слишком мало мы отошли от того грандиозного события в развитии физиологического (а косвенно — и психологического) мышления, которое являет собой физиология активности. Тем не менее уже сейчас можно выделить те главные открытия, которые сделал Н.А. Бернштейн.

1. Факт сложности движения

Краеугольным камнем теоретических построений Н.А. Бернштейна является описанный им факт неоднозначной связи между эфферентным импульсом и результирующим движением. Чтобы проследить за логикой мысли Н.А. Бернштейна¹¹, нужно начать с элементарного вопроса: что непосредственно обеспечивает судьбу особи в процессе приспособления к реальным обстоятельствам жизни? Ответ очевиден: эффекторные функции. Рецепторика же представляет собой подсобную, обслуживающую функцию. «Нигде в филогенезе созерцание мира не фигурировало как самоцель, как нечто самодовлеющее» (*Бернштейн, 1947, с.9*).

При этом животное, обитающее и действующее в среде, своим внешним поведением вынуждено «говорить на языке этой среды». Это необходимое условие его приспособленности к внешнему миру. Кроту необходимо прорыть ход в почве, обладающей совершенно конкретными физическими характеристиками, рыси — приземлиться при прыжке именно в ту точку и в то время, когда там

¹¹ Увы, приходится братья за неблагодарное дело: пересказывать логически безупречные и стилистически поэтичные работы Н.А. Бернштейна (не зря в свое время автор учился на филологическом) — значит неизбежно огрублять их.

находится жертва, а той, чтобы выжить, нужно суметь убежать. Иначе говоря, в процессе приспособления животное постоянно решает «двигательные задачи». Двигательная задача — это определяющееся совокупной ситуацией изменение предметной действительности, которое необходимо осуществить животному в данный момент. Для того чтобы решить ее, естественно, нужно осуществить ряд движений.

Рассмотрим, как связаны между собой эти движения и эфферентная импульсация, которая их вызывает. Для упрощения изложения этой проблемы введем понятие «парциального» движения (хотя сам Н.А. Бернштейн им не пользуется) по аналогии с понятием парциального давления газа в физике. Парциальным будем называть такое гипотетическое движение, которое бы произошло, если бы во время движения тело оказалось бы вне поля действия каких-либо внешних сил. Иначе: парциальное движение мы получили бы, если бы из совокупности всех сил, определивших реальное движение, вычли все вектора внешних сил. Введением этого понятия фиксируется тот тривиальный, казалось бы, факт, что реальное движение тела зависит не только от сил внутренних, но и от внешних по отношению к организму сил (тяготения, сопротивления предметов и противников и т.д.).

Что представляют собой эти последние? Определяется ли парциальное движение только сокращением мышц? Стоит лишь попристальней взглянуть на тело как на механическую систему, чтобы убедиться, что это не так. То, каково будет парциальное движение, зависит и от положения, в котором находилось тело в момент сокращения мышц, и от тех относительных ускорений, с которыми двигались его отдельные звенья. То есть парциальное движение определяется сокращением мышц и инерцией тела. Но более того: оказывается, что само сокращение мышцы зависит не только от центрального импульса, но также от функционального состояния мышцы и от ее наличной длины (Бернштейн, 1966, с. 21).

(Напомним, что между напряжением мышцы и ее длиной существует механическая обратная связь: изменение напряжения мышцы изменяет распределение сил в сочленении, следовательно, и взаимораспределение и взаиморасположение звеньев сочленения, а значит, и длину мышцы.)

Таким образом, писал Н.А. Бернштейн, преодолевается «старое привычное представление, *implicite* принятое и до сих пор сохранившееся у многих физиологов и клиницистов, согласно которому скелетное звено вполне покорно центральному импульсу и однозначно повинует ему. По этому представлению центральный импульс "а" всегда вызывает движение "А", а импульс "в" — движение "В", из чего далее следует, что легко строится представление о двигательной зоне коры как о распределительном пункте с пусковыми кнопками» (Бернштейн, 1966, с. 43).

Этой абстракции «простого движения» Н.А. Бернштейн противопоставляет представление, которое можно было бы назвать **моделью сложного движения**. Попробуем изобразить ее в виде схемы 1.

Эта схема упрощает строгие математические и инженерные выкладки Н.А. Бернштейна, но и в таком виде она фиксирует главное — факт, что между центральной эфферентной импульсацией и реальным движением животного существует связь сложная, неоднозначная и принципиально невычислимая до деятельного столкновения животного с конкретной предметной ситуацией. Это и есть факт сложности движения, как мы его назвали. Тем самым была преодолена одна из основных догм традиционных рефлексологических и бихевиористских теорий, полагавших, что любое движение животного содержится в потенциальной форме в организме, высвобождаясь в неизменном виде при наличии определенной, раз и навсегда заданной эфферентной импульсации.

К методологическим следствиям этого открытия у нас еще будет повод обратиться, но у медали факта сложнос-

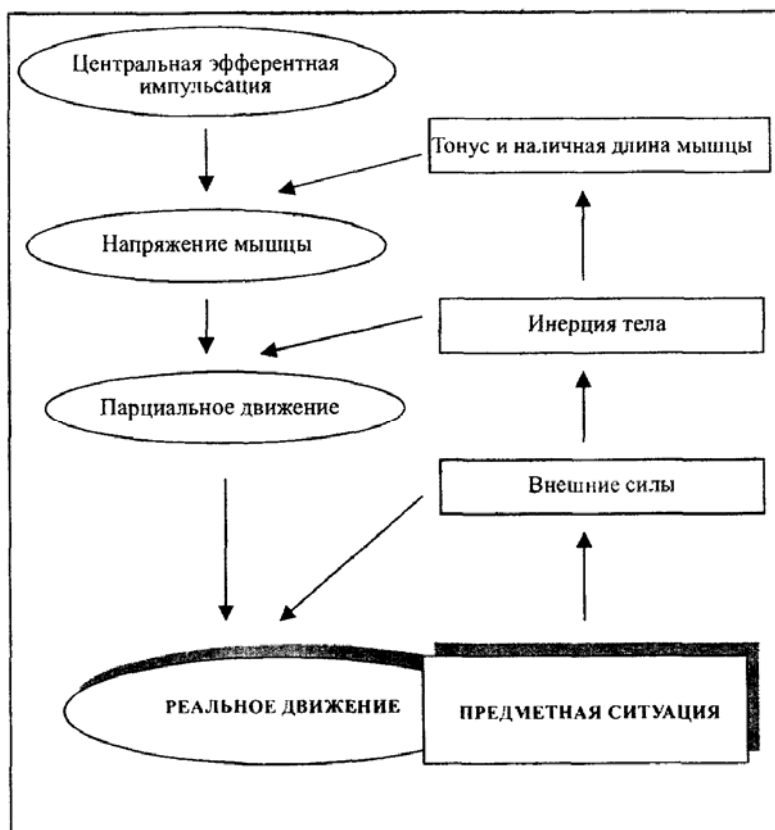


Схема 1. Модель сложного движения

ти движения есть и конкретно-теоретическая обратная сторона — *сложность восприятия*.

2. Сложность восприятия

В сложной кинематической цепи, которую представляет собой тело высшего животного, поясняет Н.А. Бернштейн, всякая сила, возникающая в одном из звеньев, тотчас же вызывает целую систему реактивных и отраженных сил. «Эти реактивные силы наслаиваются на те

силы, которые находятся в распоряжении организма и делают общую динамическую картину движения цепи... практически **непредусмотримой** из-за крайней их механической запутанности» (Бернштейн, 1947, с. 20).

Если добавить к этому многообразные текущие воздействия на движущееся тело животного сил предметной среды, не только постоянных (таких, как сила тяжести) и независимых от его движений (таких, например, как скорость течения реки, по которой животное плышет), но и «развязываемых» каждым движением животного, то становится совершенно понятным, что центральной нервной системе приходится управлять чрезвычайно мало подчиненным ей «механизмом», движение которого хотя и зависит от центральной эфферентной импульсации, но также и от огромного количества других влияний. Особая парадоксальность положения ЦНС как управляющего органа в том, что учесть эти влияния загодя, в момент посылки импульса-распоряжения невозможно, поскольку до движения многих из них просто нет, они развязываются самим движением и меняются по ходу его осуществления.

«Путь, найденный природой к преодолению охарактеризованных трудностей, прямо подсказывается фактом двоякой обусловленности мышечных напряжений. Раз при данном физиологическом состоянии мышцы напряжение ее зависит от ее наличной длины, значит, ЦНС будет реально в состоянии придать мышце то или иное требуемое напряжение в том и только в том случае, если она будет в курсе этой наличной длины мышцы и всех претерпеваемых ею изменений» (Бернштейн, 1947, с. 28). Значит, для адекватного управления напряжениями мышц с помощью эфферентных импульсов ЦНС должна постоянно иметь приток информации о позе кинематической цепи и о мере растяжения каждой из влияющих на ее движение мышц. Наличие такой информации и путей, ее проводящих, было неоднократно доказано клинически и экспериментально (*там же*, с. 90).

Подобный принцип координации получил в концепции Н.А. Бернштейна название принципа сенсорных коррекций. Естественно, что не одна лишь проприорецепторика, а «все виды афферентаций организма принимают в разных случаях и в разной мере участие в осуществлении сенсорных коррекций. Иными словами, каждому виду и качеству чувствительности доводится в очередь с ее основной экстерорецептивной (иногда и интерорецептивной) работой выполнять функции наблюдения за движениями собственного тела и сигнализировать о них в ЦНС в порядке выполнения сенсорных коррекций» (*там же*). Принцип сенсорных коррекций приводит к важному различению двух функций афферентаций: контрольно-корректировочной и сигнально-пусковой. В условнорефлекторной теории, как показано выше, могла быть замечена и принята в расчет только вторая из них — восприятие безусловных и условных стимулов реагирования, «что оставляло вне поля зрения глубоко важные формы работы рецепторики как неотрывного участника кольцевых процессов взаимодействия с внешним миром» (*Бернштейн, 1963, с. 304*).

Если в павловской концепции на долю афферентации выпадало лишь запускать движение, если она находила их готовыми (причем врожденно) и задача ее заключалась лишь в том, чтобы дать им толчок, когда требуется, то в свете факта сложности движения, того факта, что двигательный эффект центрального импульса не может быть предрешен в центре, стало ясно, что перед афферентацией наряду с сигнальной задачей стоит задача участия в построении движения. В то время как в павловской концепции вся проблематичность мира и жизни для животного заключалась в том, чтобы опознать ситуацию, то в теории Бернштейна к ней прибавляется не менее важная задача — совершить действие. Самый своевременный и громкий сигнал пожарной тревоги не погасит огонь. Животному требуется не только заметить опасность, но и избежать ее,

не только установить по условным сигналам наличие привлекательного объекта, но и овладеть им, решив двигательную задачу, — вот целостный приспособительный акт.

Когда движение уже «запущено в ход» тем или иным сенсорным сигналом, от особи для решения двигательной задачи требуется уже не условное, кодовое, а объективное, количественно и качественно верное отображение окружающего мира. Оно обеспечивается, согласно теории Н.А. Бернштейна, рядом так называемых сенсорных синтезов, или полей, к которым относятся схема тела, пространственно-двигательное поле, синтез предметного пространства и др. Объективность отражения животным среды, понятно, не означает зеркальности этого отражения, о чем говорит хотя бы наличие нескольких существенно разных сенсорных синтезов. Эти последние в действии и через действие подвергаются «прогрессирующей шлифовке и перекрестной выверке показаний» (Бернштейн, 1947).

Мы видим, какое усложнение представлений об афферентном процессе повлек за собой отказ от взгляда на движение животного как на простое событие, однозначно вызываемое эфферентным импульсом.

3. Идеальный объект концепции — рефлекторное кольцо

Открытие «сложности движения» и «сложности восприятия» привели Н.А. Бернштейна к пересмотру структуры отдельного поведенческого акта — схема дуги была заменена схемой рефлекторного кольца (Конради, 1934). Введение схемы кольца было вызвано доказательством принципиальной неуправляемости движений с помощью одних только сколь угодно тонких эфферентных последовательностей импульсов (Бернштейн, 1947).

Эта схема в одном из первоначальных вариантов выглядела таким образом:

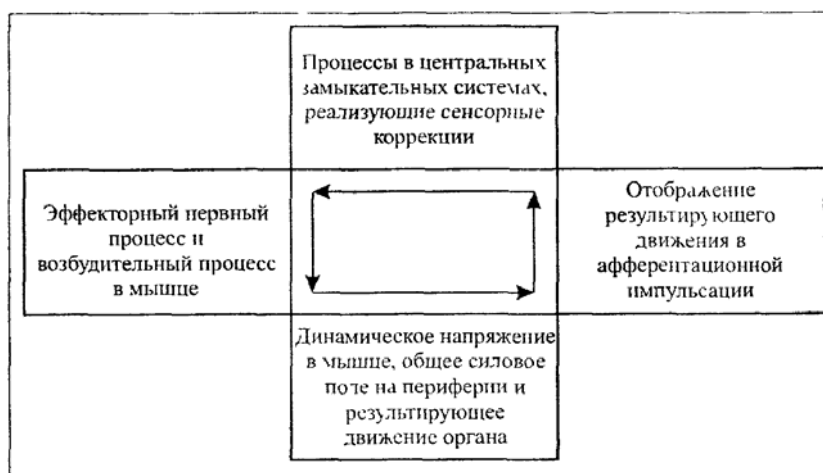


Схема 2. Схема рефлекторного кольца (Берштейн, 1947, с. 30)

В связи с введением таких представлений произошел коренной пересмотр статуса рефлекса в поведении животного. Рефлексы перестали казаться атомами, из соединения которых складываются сложные поведенческие акты. «Рефлекс — не элемент действия, а элементарное действие, занимающее то или другое место в ранговом порядке сложности и значимости всех действий организма вообще» (Берштейн, 1966, с. 302).

4. Еще раз о методе теории условных рефлексов

Такое неуместное расположение этого раздела объясняется тем, что только теперь, обретя в концепции Н.А. Бернштейна необходимые теоретические средства, мы можем достаточно полно понять каждый момент методической процедуры образования УР и ту роль, которую играет экспериментальный метод И.П. Павлова в его концепции.

Основная функция экспериментального метода в структуре научной концепции состоит в приведении реального объекта исследования в соответствие с основным идеальным объектом данной концепции. Реальный объект специальными

процедурами и всяческими методическими ухищрениями как бы вталкивается в форму идеального объекта, там же, где это не удастся, выступающие детали отсекаются либо технически, либо теоретически: их считают артефактами.

В случае павловской концепции реальным объектом исследования можно считать поведение животного, а основным идеальным объектом теории, как мы видели, понятие рефлекса. Если экспериментальный метод должен в материале реального объекта исследования воплотить идеальный объект теории, это означает в данном случае, что поведение животного должно быть организовано в экспериментальной ситуации таким образом, чтобы обеспечить основные абстракции, которые конституируют понятие рефлекса, — абстракцию простого движения и абстракцию простого восприятия. Как это делалось?

Предположим, что изложенная выше схема «сложного движения» (см. схему 1) является совершенно адекватным отражением объективной реальности. Что нужно для того, чтобы привести это сложное движение в соответствие с абстракцией простого движения, то есть такого, где центральный импульс однозначно связан с результирующим эффектом? Иначе говоря, что нужно, чтобы «смоделировать» в эксперименте «простое движение»? Для этого необходимо согласно схеме «сложного движения» (см. с. 82) сделать константными величинами:

- (а) наличную длину мышц;
- (б) инерцию тела;
- (в) внешние силы.

Кроме того, необходим еще один пункт (г) — обеспечить независимость реального движения от влияний «предметной ситуации».

Задачи (а) и (б) в павловских опытах решались лишением животного возможности двигаться: собака зажималась в привязной станок. Требование (в) обеспечивается при этом автоматически. Наконец, последняя задача — достижение независимости реакции от пред-

метной среды — решалась тем, что в качестве «зависимой переменной» в классических опытах павловской школы было выбрано слюноотделение, то есть реакция, которая может осуществляться безо всякого взаимодействия с предметной средой. Заметим, что выбор в качестве непосредственного объекта экспериментального наблюдения одних только слюнных реакций позволял кроме последней задачи еще раз продублировать и решение задач (а), (б) и (в), поскольку все эти механические величины для слюноотделения практически несущественны. Такое дублирование не было, однако, бессмысленной перестраховкой: животное нужно было обездвижить не только ради материализации абстракции простого движения, но и для попытки экспериментального воплощения абстракции простого восприятия¹².

Воплотить эту абстракцию — такова была вторая необходимая задача экспериментального метода, стремившегося превратить реальный объект исследования (поведение) в идеальный объект (рефлекс). Восприятие, неотъемлемый «функциональный орган» (Зинченко, 1997; Зинченко, Гордеева, 1982) всякого процесса, заслуживающего имени «поведение», является (сейчас для психологов это кажется чуть ли не очевидным) активным процессом построения образа. Этому активному процессу в павловских опытах противостояла в качестве формы, к которой его нужно было привести, абстракция простого восприятия, описанная выше. Как ее пытались обеспечить в эксперименте? Главный путь, по которому пошли исследователи, строился по такой приблизительно логике.

Каждый раздражитель однозначно вызывает соответствующее событие в больших полушариях — возникновение очага возбуждения. В свою очередь эти очаги по

¹² Вообще говоря, тотальный контроль над восприятием, имеем ли мы дело с политикой, воспитанием или экспериментами над животными, — задача намного более трудная, чем контроль над действием.

законам функционирования мозговой ткани вызывают процессы иррадиации, индукции и т.д. Нам нужно исследовать эти процессы в чистом виде, как исходящие из двух контролируемых точек, соответствующих сигнальному и безусловному раздражителям, не допустив никаких дополнительных посторонних влияний на них из других источников. Этого можно достичь, если исключить из экспериментального поля все возможные стимулы, кроме тех, которыми управляет экспериментатор. Для этого необходимо, во-первых, устранить по возможности все движения животного, которые сами являются проприоцептивными раздражителями, да вдобавок воздействием на предметы в экспериментальном помещении могут создать неучтенные экспериментатором раздражители, а во-вторых, сконструировать искусственные «химически чистые» раздражители, оградив экспериментальные стимулы от всякого рода шумовых и фоновых примесей (Бернштейн, 1966, с. 332). И вот для решения этой задачи строится специальное сооружение, со всякого рода звуко- и светоизоляцией, романтически названное «Башня молчания». Столько было вложено трудов, но на поверку оказалось, что животное хотя и живет в мире реальном, но реальность эта совершенно не совпадает с тем, как она видится натуралистическому, физикалистскому мышлению: то, что экспериментаторы считали чистым, нейтральным фоном, почти полным отсутствием раздражителей, явилось для подопытных собак сильнейшим раздражителем. Тишина «Башни молчания» была оглушительной.

Тем не менее при всех издержках и накладках можно утверждать, что свою миссию метод формирования условных рефлексов выполнил: поведение животного было уложено в прокрустово ложе понятия рефлекса, что и дало возможность обширнейших экспериментальных исследований закономерностей обусловливания. С научной точки зрения все было сделано почти безупречно. С методологической же проблема состояла в том, насколько правомерны переносы этих закономерностей «идеально-

го объекта» (рефлекса) на целостный реальный объект (поведение). Игнорирование этой проблемы привело к тому, что теорией условных рефлексов воспользовались в свое время для идеологических гонений на психологию. Впрочем, эта тема выходит за пределы наших исследовательских задач.

5. Онтология и методология теории

Н.А. Бернштейна

Основное содержание онтологической картины концепции Н.А. Бернштейна зафиксировано в самом ее названии — «физиология активности». Если действующие лица, на первый взгляд, остались здесь прежними (Н.А. Бернштейн так же, как и И.П. Павлов, рассматривает схему «организм—среда»), то содержание ролей радикально изменилось: понятию организма и его основному отношению к среде даются совершенно новые интерпретации.

В то время как традиционная физиология, занимаясь поведением, ограничивалась, по существу, рассмотрением отдельных приспособительных актов, в теории Н.А. Бернштейна горизонт физиологического умозрения расширяется до анализа жизни особи. Для этого потребовалось в первую очередь пересмотреть сложившееся понятие организма, трактовавшее его как реактивно-уравновешивающуюся систему.

В концепции Н.А. Бернштейна организм рассматривается как организация, характеризующаяся двумя главными свойствами. Во-первых, это организация, сохраняющая свою системную тождественность сама с собой, несмотря на непрерывный поток как энергии, так и вещества, субстрата, проходящих через нее. Несмотря на то, что ни один индивидуальный атом в организме не задерживается в составе его клеток, организм остается сегодня тем же, чем был вчера, и его жизнедеятельность обуславливается всей его предшествующей жизнью.

Во-вторых, — развивает биологическую диалектику Н.А. Бернштейн, — организм на всех ступенях и этапах

своего существования непрерывно и направленно изменяется. Эта направленность онтогенетической эволюции неоспоримо доказывается хотя бы тем, что тысяча представителей одного животного или растительного вида развивается в особей, одинаковых по своим основным или определяющим признакам, несмотря на иногда весьма резкую неодинаковость внешних условий жизни у разных индивидов. Что касается эмбриогенеза, то, начиная уже со стадии оплодотворенного яйца, организм обладает закодированной моделью будущего своего развития, оформления и закодированной же программой последовательных ступеней этого развития.

Самое же важное, по мнению Бернштейна, состоит даже не в этой «запрограммированности», а в том динамическом начале (в конце концов, вероятно тоже как-то закодированном и обладающим своим вещественным субстратом-носителем в клетке), которое создает у особи активное антиэнтропийное, преодолевающее стремление к реализации этой кодированной модели (Бернштейн, 1963, с. 313).

Какие следствия влечет за собой это изменение понятия организма для онтологической картины концепции? Ясно, что отмеченная выше тождественность результатов морфогенетического развития на фоне изменчивых условий говорит о том, что организм активно преодолевает возможные и неизбежные внешние препятствия на пути программы своего морфогенеза. Экспериментальные факты повреждений и частичных ампутаций (например, конечностей) в эмбриогенезе, ампутаций, не мешающих этим органам развиваться в полноценную конечность; факты анатомических, а еще более функциональных регенераций; клинический материал — все эти данные говорят о том, что организм активно борется за свое выживание, развитие и размножение. Процесс жизни — это не уравнивание с окружающей средой, как считал И.П. Павлов. Такое уравнивание обрекло бы каж-

дую особь на полную зависимость от среды и ее изменений, в результате чего о программном морфогенезе с удержанием стойких признаков вида нельзя было бы и думать. Процесс жизни — это преодоление среды, направленное при этом не на сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в направлении родовой программы развития и самообеспечения (*Бернштейн, 1963, с. 314*).

Такому общему взгляду на жизнь особи, на отношение «организм—среда», важнейшее в онтологии биологических дисциплин, полностью соответствует произошедшая в концепции Н.А. Бернштейна смена представлений об отдельном акте поведения, рассмотренная выше. Он существенно определяется средой, но никогда полностью не детерминирован ею. Активность — эта важнейшая черта живых систем (*Бернштейн, 1966, с. 188*) — на уровне отдельных поведенческих актов проявляется в их *целестремленности*. Если понятие цели в концепции И. П. Павлова, как мы видели, в лучшем случае допускалось лишь в исследовательскую «кухню» как эвристический познавательный прием, то в физиологии активности Н.А. Бернштейна это понятие онтологизируется. Без него факты сложного поведения животного, факты координации и управления собственными движениями попросту необъяснимы.

Обнаружение и исследование «сложности движения» в своем методологическом звучании явилось открытием предметного характера движения. Тривиальный, но от этого не становящийся несущественным факт активного взаимодействия живого существа с вещами внешнего мира совершенно не учитывался павловской физиологией. Она видела, с одной стороны, *движение* (сводимое к реакции), с другой — *предмет* (сводимый чаще всего к раздражителю, условному или безусловному), но не видела *живого предметного движения*, то есть движения, во-первых, удовлетворяющего некоторую жизненно важную потребность организма, а значит, в определенных своих

параметрах жестко заданного этой потребностью, и, во-вторых, развертывающегося в предметном мире и вынужденного поэтому, чтобы быть успешным, соответствовать по своему составу объективным свойствам этого мира.

Сложное строение тела высшего животного, с одной стороны, и подвижное многообразие объективных обстоятельств, с другой, делают всякую поведенческую ситуацию практически уникальной, так что даже самый богатый репертуар врожденных реакций в принципе не мог бы обеспечить каждую из ситуаций адекватным движением. Движение должно быть всякий раз заново построено.

Нужно было коренным образом изменить представление об организме и способе его жизни, как это сделал Н.А. Бернштейн, чтобы поставить в конкретно-научной плоскости проблему построения движений. Ее решение с логической необходимостью потребовало перестройки концептуального аппарата физиологической науки в той его части, которая была предназначена для изучения поведения. Сюда относится переход от схемы рефлекторной дуги к схеме рефлекторного кольца, развитие представлений о коррекции движений с помощью проприорецепторики (в широком смысле), что означало открытие важнейшей контрольно-корректировочной функции афферентации наряду с открытой И.П. Павловым сигнально-пусковой ее функцией. Наконец, в аппарат поведенческих дисциплин был введен ранее считавшийся крамольным комплекс понятий: цель, задача, «модель потребного будущего». Эти понятия, фиксируя важнейший механизм реализации сложного поведения, явились в то же время конкретным воплощением общей идеи активности — активного, деятельного, преодолевающего отношения организма к среде, — пришедшей на смену представлениям об этом отношении как об уравнивании.

* * *

Столь значительный прогресс в теоретических представлениях был возможен лишь при овладении новыми, более мощными методологическими средствами. В этой методологической плоскости концепцией Н.А. Бернштейна был сделан шаг не меньший, чем в плоскости конкретно-научной. В науках о поведении это был шаг от методологии натуралистической к методологии деятельностно-ориентированной.

Центральная для методологии науки проблема детерминизма была в физиологии активности решена парадоксальным для классического физиологического натурализма образом: не столько законы функционирования мозговой ткани определяют поведение животного, то есть его реальную жизнь, сколько сама эта жизнь, деятельное решение жизненных задач определяет функционирование мозга, а в эволюционных масштабах и его строение.

Можно сказать, что Н.А. Бернштейн открыл для конкретно-научного физиологического исследования поведенческую реальность, сумев описать его единицу — «живое движение». Входящий в состав живого движения механизм «сенсорных коррекций» делает его движением «умным», «зрячим», поэтически выражаясь — «исполненным очей», а психологически — осмысленным, изнутри просветленным отражением предметной реальности. Но само это отражение, этот «ум» живого движения вовсе не самостоятельная, отдельная от собственно движения инстанция, а «функциональный орган» (см. *Зинченко, 1997; Зинченко, Гордеева, 1982*), вне и помимо самого движения не работающий. Все это известные и житейскому самонаблюдению вещи: так нога, нащупывая в темноте тропинку, одновременно и исполняет очередной шаг, и изучает предметную реальность, и гибко перестраивает свое движение в соответствии с этой реальностью. Впрочем, то, что для житейского сознания просто, то нередко чрезвычайно сложно для точной научной фиксации.

Это, так совершенно устроенное у высших животных, внешнее поведение, в павловской теории, несмотря на ее претензии объяснить фундаментальные законы поведения, по существу изгонялось из физиологической науки. Реальное поведение (как действие, так и восприятие) низводилось в павловской системе до роли источника информации для мозга животного и индикатора гипотетических мозговых процессов (индукции, иррадиации, замыкания и т.п., что Б.Ф. Скиннер ядовито, но точно назвал «концептуальной нервной системой») для исследователя.

Ничего интересного от исследования строения самого поведения не ждали, весь интерес был направлен вглубь, за черепную коробку, содержащую, как думалось, в себе все тайны и законы поведения животного и человека.

Гносеологическая, лабораторная редукция поведения до роли источника информации невольно онтологизировалась, так что основной жизненной задачей животного считались не действия, а ориентирование в среде, получение своевременной информации о появившихся раздражителях. (Да и то сказать, если весь репертуар врожденных реакций всегда в распоряжении животного, главное — своевременная информация, точная ориентировка, а уж за правильным приказом и его точным исполнением дело не станет.)

Эта «информационно-ориентировочная» парадигма, заданная павловской методологией, продолжала реализовываться в трудах его учеников и последователей, в первую очередь в теории П.К. Анохина, несмотря на, казалось бы, радикальные преобразования, внесенные этой теорией в павловские представления о поведении, — понятие акцептора действия, принцип обратной связи и пр. И все же, несмотря на бесспорную продуктивность и на новейшую для того времени кибернетически-информационную терминологию, эти теории лишь закрепили главный методологический порок павловского учения —

неспособность научно увидеть самостоятельную, полную, вескую реальность живых, предметных двигательных актов, несводимых ни к каким условным сигналам, ни к какой информационной представленности в мозгу.

Кибернетического толка теории поведения при неоправданной экспансии информационных абстракций склонны к замещению реальности информацией о реальности, как в физиологическом мышлении И.П. Павлова реальное событие — раздражитель — легко замещалось нервным возбуждением афферентной клетки, а реальное движение — возбуждением клетки эфферентной (вспомним павловский тезис: «Последняя инстанция движения в клетках передних рогов спинного мозга»). Будь этот биологический иллюзионизм справедлив, для боксера было бы безразлично, получает ли он информацию об ударе или удар, для экспериментального животного — получает ли оно информацию о пище или саму пищу. Кориостололюбивый предтеча такой информационной теории взаимодействия живого существа с миром, хозяин стамбульской харчевни требовал от бедняка расплатиться за запах шашлыка, но Ходжа Насреддин указал ему на методологическую непоследовательность, предложив получить плату не монетами, а звоном монет¹³.

Но, возвращаясь к физиологии активности, можно спросить: разве сам Н.А. Бернштейн, особенно в послед-

¹³ С тревогой приходится констатировать, что информационно-кибернетический иллюзионизм благодаря современным электронным средствам получил возможность технически совершенного воплощения в разного рода устройствах, создающих виртуальную реальность. Как и всякое изобретение, это имеет множество замечательных приложений, но и несет в себе страшную угрозу наркотизации. Духовный смысл всякого наркотика, как утверждал П.А. Флоренский, — бегство от реальности. Но куда? В псевдореальность, которая тем сильнее пленяет, чем более притворяется подлинной.

них своих работах, не использовал в качестве ключевой идею обратной связи и не подошел к информационно-кибернетической методологии? Использовал и подошел, но стоит полностью согласиться с квалификацией А.Н. Леонтьевым этой переориентации взглядов Н.А. Бернштейна как «известного отступления от ранних работ, в которых развивался принцип активности...» (Леонтьев, 1972, с. 79). Дело в том, что представление о кольцевой регуляции «живого движения» с помощью сенсорных коррекций, осуществляемых на разного уровня «сенсорных полях», хотя и содержит в себе с формально-логической точки зрения одну из центральных идей кибернетики — принцип обратной связи, но для исследования поведения намного продуктивнее и богаче этой идеи и сведена к ней быть не может.

Понятие обратной связи в физиологии поведения (реализованное, в частности, в концепции акцептора действия П.К. Анохина) оперирует поведенческими событиями как готовыми, атомарными сущностями. Движение при этом попадает в поле зрения теории только до его начала (в виде цели) и после его завершения (в виде результата). Представление же о сенсорных коррекциях и сенсорных полях разных уровней ухватывает движения животного в его живом протекании, в его динамическом построении, которое вовсе не является суммой атомарных проб исполнения данного движения. Не случайно главный труд Н.А. Бернштейна так и назван «О построении движений». Поэтому свести методологию «физиологии активности» к идее обратной связи — значит пройти мимо самого интересного, творческого, глубокого и перспективного в ней.

Итак, на уровне уже философской, а не собственно методологической рефлексии теория условных рефлексов репрезентирует философию натуралистического иллюзионизма.

Физиология активности, мыслящая поведенческий акт как живой орган встречи с реальностью, функционирование которого изнутри просветлено перцептивным отражением этой реальности, а сама эта перцепция опосредована реальным предметным движением, — это теория, которая воплощает совсем другую философию — философию энергийного реализма.

2.3. Павлов и Скиннер: сравнительный методологический анализ теорий

Название главы можно было бы стилизовать под логическую формулу «(Павлов & Скиннер) V Бернштейн?», пытаясь так выразить, во-первых, утверждение, что истинно одно из двух — либо теория Н.А. Бернштейна, либо концепции И.П. Павлова и Б.Ф. Скиннера вместе взятые, а во-вторых, вопрос — что же все-таки истинно? Однако от подобного заголовка пришлось отказаться потому, что о теории И.П. Павлова речь пойдет только в самом конце главы, а фамилия Н.А. Бернштейна и его конкретные теоретические идеи почти вовсе не будут фигурировать на последующих страницах; но, главное, потому, что для автора эта дизъюнкция уже потеряла свой вопросительный знак, она решена в пользу Н.А. Бернштейна. Авторская точка зрения совмещена в рамках данной работы с той методологической и теоретической позицией, которую символизирует имя Н.А. Бернштейна, и анализ оперантного бихевиоризма Б.Ф. Скиннера ведется с опорой именно на это основание, само по себе остающееся вне обсуждения, как бы вынесенным за скобку. Что касается знака конъюнкции между Павловым и Скиннером, то он использован здесь скорее в психологическом, чем в логическом смысле и выражает сложившееся у автора убеждение, что концепции этих ученых вырастают из одного и того же методологического корня, имеют один и тот же философский и методологический «генотип», черты которого, несмотря на все «фенотипические» различия, явно проступят, если поставить эти две теории рядом.

«Поставить теории рядом» — значит придать им сопоставимую форму, чтобы можно было сравнивать не по их самопредъявлению, не по поверхностным признакам, а по внутренней сути. Для этого нам понадобится методологически препарировать концепцию радикального бихевиоризма так же, как это было сделано в предыдущей

главе по отношению к теории условных рефлексов и с помощью того же, уже знакомого читателю методологического аппарата (онтология — основной идеальный объект — предмет — объект — метод).

Радикальный бихевиоризм Б.Ф. Сканера

1. Онтология

Онтологией радикального бихевиоризма является та же, что и у И.П. Павлова, схема «организм—среда». Однако понятие организма здесь пересмотрено, точнее — принципиально и сознательно недосмотрено: исходя из своей позитивистской установки, Б.Ф. Скиннер отказывается от учета всех внутренних, во внешнем поведении непосредственно не наблюдаемых процессов — физиологические они или психологические — неважно, а вернее, неизвестно. Организм есть «черный ящик», некая непрозрачная емкость, в принципе не проницаемая, а главное — неинтересная для бихевиористского взгляда. Организм — это место, в котором нарушается непрерывность наблюдаемых в онтологии «организм—среда» процессов, это как бы дыра, брешь в среде, где бесследно исчезают и откуда неожиданно появляются наблюдаемые процессы. Между теми и другими, интерпретируемыми соответственно как стимулы и реакции, естественно, устанавливаются не причинные отношения, предполагающие наличие непрерывности, а отношения корреляционные. Скиннер «игнорирует возможность промежуточных физиологических звеньев... — пишет известный историк психологии Е. Боринг. — Такие функциональные отношения, как $R = f(S)$, устанавливаются наблюдением за соизменениями S и R и лишены физической непрерывности между терминами, которую предпочитают большинство ученых. Скиннеровские функции — просто корреляции дискретных переменных, и друзья Скиннера порой шутят, что он имеет дело с пустым организмом» (Boring, 1950, p. 650).

В шутке этой, впрочем, шуточного немного, она является вполне точной констатацией ядерной методологемы радикального бихевиоризма, которую можно назвать **абстракцией «пустого организма»**. Эта абстракция чрезвычайно последовательно проводится Скиннером на всех уровнях исследовательской работы, начиная от решения методологического вопроса об отношениях между физиологией и психологией и кончая способом описания и фиксации конкретных экспериментальных условий. Нелепо было бы, конечно, понимать эту абстракцию буквально. Разумеется, Скиннер знает, «что организм не пуст и поэтому не может быть адекватно изучен просто как "черный ящик", но, — настаивает он, — мы обязаны внимательно относиться к разнице между тем, что нам действительно известно о находящемся внутри, и тем, что просто логически выводится» (*Skinner*, 1974, p. 213). Абстракция «пустого организма» — лишь квазионтологическое выражение пафоса гносеологической борьбы Скиннера против метафизических демонов и гомункулусов, в какие бы материалистические одежды они ни рядились в теориях современных физиологов и психологов, приписывающих своим концептам реальную силу и способность упорядочивать поведение и управлять им. Другими словами, абстракция «пустого организма» — выражение неудовлетворенности «менталистской» психологией (считающей возможным ссылаться при объяснении поведения на такие ненаблюдаемые вещи, как желание, потребность, намерение и т.п.) и «концептуальной» физиологией, апеллирующей к столь же мистическим сущностям. Дело в том, поясняет Скиннер, что с античности поведение объясняется смесью анатомических, физиологических и менталистских фактов. «Его сердце разбито в любовной драме»; «Он ошибся, потому что его нервы были натянуты» и т.д. и т.п. Это обстоятельство сказалось не только на психологии, но и на физиологии. «Были выделены различные части нервной системы, но что происходит в каждой из

них — это только логически выводилось. Отчасти такое положение сохранилось и в XX веке. Синапс, проанализированный сэром Чарльзом Шерингтоном, был частью концептуальной (читай «воображаемой». — *Ф.В.*) нервной системы; то же относится и к "деятельности коры больших полушарий", исследованной Павловым» (*Skinner*, 1974, p. 213). Чем пользоваться воображаемой нервной системой «для объяснения поведения, из которого она сама логически выводится», — считает Скиннер (*там же*), — лучше уж вообще отказаться пока от всякого физиологического объяснения.

Хотя в отношении будущей физиологии Скиннер настроен чуть более оптимистично, но и ей отводится весьма скромная роль заполнения бреши между стимулами и реакциями, оставленной ей бихевиоризмом, знаниями о химических и электрических процессах, которые происходят в организме, когда он действует (*Skinner*, 1931, 1974). Впрочем, и тогда «то, что откроют физиологи, не сможет сделать недействительными законы, установленные наукой о поведении» (*Skinner*, 1974, p. 215).

При всей справедливости критики Б.Ф. Скиннером физиологических фантазий нельзя не заметить, что он принципиально вычеркивает физиологию из списка поведенческих дисциплин, хотя из вежливости и говорит, что в будущем, когда она наберется ума, ей, может быть, и доверят закрасить белые пятна на карте научного объяснения поведения, но уж, конечно, никогда не доверят самой рисовать контуры поведенческого ландшафта. В самом деле, если, по мнению Скиннера, никакое самое совершенное физиологическое знание не сможет поколебать уже установленных законов поведения, значит, исторически сложившаяся граница между физиологией и бихевиоральной психологией возводится в ранг принципа, а следовательно, в онтологической плоскости строится непреодолимая стена между внешним и внутренним (физиологическим), между поведением организма и

организмом. Поэтому психолог-бихевиорист, хотя и может помечтать, что физиологи когда-нибудь расскажут ему, «что происходит, когда, например, ребенок учится пить из чашки», или более того, «как, следя за изменениями в нервной системе, добиться, чтобы он научился это делать» (*Skinner*, 1974, р. 214), но в качестве профессионала он должен забыть, что за кожей что-то есть, что там происходят процессы, существенно сказывающиеся на поведении, или — упаси Бог — что есть нечто внутреннее, которое и в поведении не наблюдается, и в организме самым совершенным прибором не сыщешь и которое тоже вносит свой вклад в организацию и осуществление поведения. Хочешь оставаться ученым — считай, что «организм пуст», ищи детерминанты поведения в видимой внешней среде, отказываясь от метафизической привычки ссылаться на какое-нибудь «переключение возбуждения» или «намерение», которых никто никогда не видел и которых, следовательно, не существует как научных фактов. Вполне очевидно, что на философском уровне радикальный бихевиоризм является радикальным позитивизмом¹.

¹ Напомним с помощью В. Виндельбанда, в чем суть развитой Огюстом Контom философии позитивизма (которую сам Б.Ф. Скиннер воспринял от Э. Маха), особенно подчеркивая те аспекты, которые с буквальной точностью воплощены в гносеологии Б.Ф. Скиннера. «...Позитивная философия... — пишет В. Виндельбанд, — есть не что иное, как упорядоченная система позитивных наук. Контовский очерк этой позитивистской системы наук представляет собой прежде всего крайние выводы из воззрений Юма и Кондильяка. *Человеческое познание должно довольствоваться установлением соотношений между явлениями* (выделено мной. — *Ф.В.*). Более того, вообще не существует какого-либо Абсолюта, который лежал бы, хотя бы в качестве чего-то неизвестного, в основе этих явлений. Единственный абсолютный принцип — то, что все относительно.

Приведем конкретный пример реализации позитивистских заповедей в познавательной практике радикального бихевиоризма. Когда в экспериментах Скиннера используется пищевое подкрепление, вес животного доводится, например, до 75% от обычного веса. Дело здесь не в том, что Скиннер хочет дать некоторое объективно фиксированное и потому операционально воспроизводимое выражение потребности, в данном случае пищевой. Он в принципе отказывается от понятия потребности (как бы его ни трактовали — физиологически или психологически) как некоего внутреннего состояния организма, являющегося причиной поведения. Здесь нет предположения, что у всех участвующих в эксперименте животных (или у одной особи в разное время) при доведении их веса до 75% от нормы пищевая потребность будет одинакова. Потребность, по Скиннеру, не есть то, что *означается* или *выражается* в этом весе, она *есть* 75% веса, и ни о какой другой таинственной *потребности*, приписываемой внутреннему миру организма, говорить нельзя, если мы

Совершенно бессмысленно говорить о первых причинах и конечных целях вещей. Однако этот релятивизм (или, как говорили позже, коррелятивизм) тотчас же заявляет универсальное притязание математического естественного мышления. Науке он приписывает задачу рассматривать все эти отношения таким образом, чтобы устанавливать не только единичные факты, но и их повторяющийся пространственный и временной порядок — "общие факты", но именно всего лишь как факты. Следовательно, посредством "законов" — обычное название для "общих фактов" — *позитивизм хочет не объяснять частные факты, а всего лишь констатировать эти повторения* (выделено мной — Ф.В.). Тем не менее результатом подобного подхода должно явиться (что, конечно, остается непонятным и неоправданным при таких предпосылках) предвидение будущего как практическая услуга науки — *savoir pour prévoir* (знание ради предвидения)» (Виндельбанд, 1998, с. 440-441).

хотим говорить научно (разумеется, в позитивистском смысле этого слова).

Скиннер утверждает: раз вы не можете объективно наблюдать потребность саму по себе, нельзя объяснять ею поведение, ибо само понятие потребности вы сначала выводите из поведения, а затем им же это поведение объясняете. Это физиологическая или психологическая мистификация, от которой бихевиорист должен отказаться. Когда вес животного перед экспериментом доводится до 75%, то это — некоторый твердый факт, имеющий определенную фиксацию. Если при этом утверждать, что животное испытывает голод и потому действует, то это ровным счетом ничего не прибавляет к нашему знанию и, главное, никак научно, операционально не может быть учтено. Так что в экспериментальном мышлении Б.Ф. Скиннера не имеется в виду, что есть самостоятельная сущность — «потребность в пище», которая в данном эксперименте количественно выражается «семидесятипятипроцентным весом животного». Есть просто эти 75% веса, и, если угодно, можете называть это потребностью, но не вкладывайте в это слово ваших привычных ассоциаций, за ним ничего не должно стоять, кроме указанных процентов и соответствующих процедур взвешивания.

Так «организм» в онтологии радикального бихевиоризма последовательно очищается от всех внутренних содержаний. Что касается понятия среды в этой онтологии, то его удобнее обсудить несколько позже.

2. Основной идеальный объект радикального бихевиоризма — оперантный рефлекс

Б.Ф. Скиннер так же, как и И.П. Павлов, полагает, что жизнь организма осуществляется за счет безусловных и условных рефлексов, но в отличие от русского исследователя он выделяет два типа обусловливания — класси-

ческое, или респондентное, изучавшееся в павловской школе, и оперантное обусловливание. Рассмотрим основные различия между этими типами. Б.Ф. Скиннер так схематизирует их (*Skinner, 1935*):

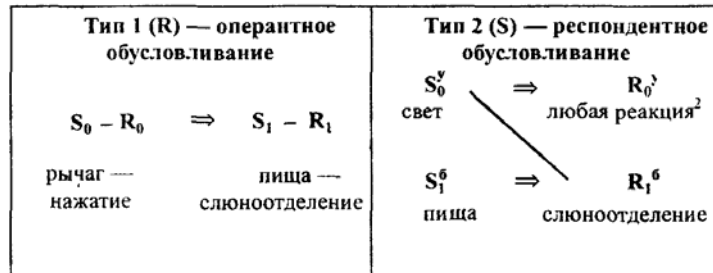


Схема 1. Различия оперантного и респондентного обусловливания (приводится с несущественными изменениями по изданию — *Skinner, 1959*, p. 367)

Центральное различие между этими типами приходится на результаты обусловливания. В первом случае происходит изменение силы рефлекса ($S_0 - R_0$), которая измеряется частотой или вероятностью появления ответа R_0 при наличии стимула S_0 ; во втором типе устанавливается условная связь $S_0^y - R_1^6$, то есть возникает новый рефлекс. Иначе говоря, оперантное обусловливание не порождает новых рефлексов, оно только увеличивает или уменьшает (в зависимости от того, положительное подкрепление или отрицательное) их силу, при респондентном же обусловливании возникает новый рефлекс, в котором ранее безразличный раздражитель S_0^y занимает место безусловного S_1^6 и обретает способность вызывать соответствующую безусловную реакцию R_1^6 .

Чрезвычайно важны для характеристики обоих типов временные условия подкрепления. Чтобы произошло опе-

² С точки зрения представителей павловской школы, это не «любая реакция», а ориентировочная, что чрезвычайно существенно для замыкания условной связи.

рантное обусловливание, подкрепление S_1 должно появиться после того, как произошла реакция R_0 . Во втором типе для обусловливания существенным является временное отношение подкрепления S_1^6 не с реакцией R_0^y , а с безразличным раздражителем S_0^y . Чтобы стать условным, стимул S_0^y должен предшествовать или появляться одновременно с безусловным раздражителем (подкреплением) S_1^6 .

В статье «Два типа условных рефлексов и псевдотип» (*Skinner, 1935*) Скиннер проводит еще целый ряд различий между R- и S-обусловливанием, но для целей нашего методологического анализа достаточно и только что описанных.

Коснемся вкратце вопроса о возможности сведения двух типов обусловливания друг к другу. К чести Скиннера надо сказать, что он избегает соблазна сводить классическое обусловливание к оперантному (*Skinner, 1935*). Правда, он утверждает, что чистый условный рефлекс эмпирически получить невозможно ввиду того, что во время подкрепления на животное действует не один только предназначенный стать условным раздражитель (например, свет), но вся совокупная стимульная ситуация. Поэтому для образования условного рефлекса на данный стимул требуется введение дополнительных условий, в самой схеме классического обусловливания не учитываемых, которые обеспечивали бы выделение S_0^y из стимульного поля, что экспериментально достигается его неожиданным появлением (*Skinner, 1935*). С точки зрения павловской теории условных рефлексов это просто недоразумение, основанное на игнорировании роли ориентировочной реакции: сначала Скиннер принимает, что для образования «чистого» условного рефлекса респондентного типа не существенна первичная реакция R_0^y на безразличный стимул, то есть ориентировочная реакция (*там же*), а затем, исходя из того, что для установления условной связи $S_0^y — R_1^6$ требуется некоторая активность организма по выделению S_0^y

из стимульного поля, он утверждает, что «чистого» условного рефлекса не существует. Скиннер почему-то отказывается допустить возможность, что та самая реакция R_0^y , которой он пренебрег в схеме образования классического условного рефлекса, как раз и берет на себя функцию выделения стимула³. Почему же? Ведь экспериментально, в чисто бихевиористской манере не так уж трудно зафиксировать, например, снижение порогов восприятия объекта, который стал стимулом ориентировочной реакции. Но тем не менее придание должного функционального значения ориентировочной реакции привело бы Скиннера к недопустимым для радикального бихевиоризма выводам о наличии перцептивного взаимодействия животного со средой, изменяющего эту среду не материально, а идеально — приданием тем или иным объектам особого статуса в жизненном пространстве животного.

Что касается обратной возможности — сведения оперантного обусловливания к респондентному, то павловская школа вообще отказывается признать, что Скиннером (точнее, Миллером и Конорским) был открыт новый тип обусловливания, утверждая, что он без остатка сводим к закономерностям образования классического условного

³ Справедливости ради заметим, что поводов для такого недоразумения в сочинениях И.П. Павлова предостаточно. Несмотря на ту роль, которую Павлов придавал рефлексу «Что такое?», он все-таки явно недооценивал его общетеоретическое значение, состоящее в указании на активный характер восприятия. Наиболее выразительное пластическое доказательство этой недооценки — «башня молчания», — попытка заменить инженерной конструкцией деятельность животного по выделению значащего сигнала из шумового фона, обнаруживающая предположение, что в принципе активность животного по отношению к условному раздражителю не обязательна для замыкания условной связи.

рефлекса⁴. Ход рассуждения базируется при этом на отождествлении оперантной реакции R_0 с безразличным стимулом S_0^Y : собственное движение животного может явиться для него точно таким же стимулом, как и любое другое событие, и, следовательно, может быть рассмотрено как раздражитель. А раз этот раздражитель предшествует появлению подкрепления, то со временем он становится условным, то есть начинает вызывать соответствующую подкреплению безусловную реакцию. Ни логически, ни фактически это рассуждение не противоречиво: если нажатие на рычаг точно так же, как и появляющийся независимо от животного звонок, сопровождается кормлением, и то, и другое в равной мере могут вызвать слюноотделение. Но тем самым просто усматривается функционирование классического обусловливания в ходе и во время оперантного обусловливания. А это вовсе не означает сведение последнего к респондентному, поскольку основной факт оперантной теории — увеличение вероятности оперантной реакции R при положительном подкреплении здесь не объясняется. Этот факт в стандартной схеме павловского эксперимента был бы равнозначен — смешно сказать — увеличению вероятности зажигания лампы по той причине, что свет от нее стал для животного условным раздражителем.

По-видимому, разумнее всего признать (как это и делает Скиннер — *Skinner*, 1935), что работают всегда оба механизма, и усмотрение функционирования одного во время действия другого не устраняет ни тот, ни другой.

⁴ При той фетишизации мозговой деятельности (см. предыдущую главу), которая характерна для теории И. П. Павлова, иного нельзя было и ожидать: ведь не изменяются же законы функционирования мозга, в частности законы замыкания нервных связей, от того, что мы изменим экспериментальную ситуацию образования условного рефлекса, как это сделал Скиннер.

Рассмотрим теперь само понятие оперантного рефлекса безотносительно к его сопоставлению с респондентным.

Как изменяется оперантный рефлекс в результате подкрепления?

Существенной особенностью оперантного обусловливания является отсутствие подкрепления до тех пор, пока не произойдет оперантная реакция (*Skinner, 1935*), то есть последняя — это реакция на биологически нейтральный раздражитель и может быть названа поэтому «безразличной» реакцией по аналогии с понятием безразличного раздражителя у Павлова. Другими словами, до первого подкрепления оперантная реакция осуществляется, не «имея в виду» своих биотических последствий, вне какой-либо данности животному жизненно важного объекта и, соответственно, вне данности связи между его движениями и каким-то их будущим значимым результатом. Однако и после того, как произошло обусловливание, ошибочно утверждать, что животное «прозрело» относительно последствий подобного движения в сходных условиях и что оно будет осуществлять его в следующий раз *потому*, что «предвосхищает» или, того хуже, — «надеется» на получение такого же результата. Все это, — говорит Скиннер, — не более чем менталистские домыслы. Обученная крыса нажимает на рычаг в скиннеровском ящике вовсе не потому, что «ожидает», будто это приведет к появлению пищи... Просто в результате подкрепления увеличивалась вероятность такой реакции при наличии подобного стимула. Человек в таком изменившемся состоянии может переживать, что он нечто «предвосхищает», «ожидает», но это эпифеномен, необходимости в таком переживании нет, психическая деятельность не существенна для оперантного поведения (*Skinner, 1974*).

В результате оперантного обусловливания нового рефлекса не появляется, а в старом не происходит никаких содержательных преобразований, никаких качественных перестроек, изменяется лишь его сила, или вероятность его появления (*Skinner, 1935*).

**Какова связь между стимулом и ответом
в рефлексе?**

Стимулом Скиннер называет некоторое воздействие среды, «вызывающее энергетическое изменение на периферии» (*Skinner, 1931*). Реакция (ответ) тоже есть некоторое внешнее событие, движение, доступное наблюдению. Естественно, что стимул не может рассматриваться как **причина** реакции, ибо наблюдение непрерывной причинной цепи в организме прерывается, и Скиннер не считает необходимым или даже полезным для анализа поведения знать о том, что происходит внутри, за кожей. Ссылаясь на Э. Маха, он заменяет понятие **причинения** стимулом реакции понятием функционального отношения между ними (*там же*) и ставит задачу выявления корреляций: связь между ними в рамках радикального бихевиоризма не онтологизируется, она, как уже говорилось, отдается на откуп физиологии, которая, по мнению Скиннера, и должна заполнять брешь, оставляемую ей бихевиоризмом (*Skinner, 1974*), «стремясь к описанию рефлексов в терминах физико-химических событий» (*Skinner, 1931, p. 336*).

Итак, стимул рассматривается Скиннером не как причина, а как фактор (если дать понятию фактора определение детерминанты, про которую известно, что она влияет на наблюдаемые события, но содержательный характер действия которой не является ни известным, ни искомым). «...Стимулы, — утверждает Скиннер, — не вызывают оперантных ответов, они просто изменяют вероятность того, что эти ответы произойдут» (*Skinner, 1974*,

р. 223). Они обладают этой способностью не сами по себе, а в силу того, что присутствуют во время действия подкрепляющих обстоятельств.

Какова должна быть связь между оперантной реакцией и подкреплением для того, чтобы произошло обусловливание?

Исходя из здравого смысла можно было бы сказать, что подкрепление данного акта поведения происходит потому, что он производит некоторые преобразования среды или положения тела животного в среде так, что этим обеспечивается удовлетворение той или иной потребности. Однако такое рассуждение в корне противоречит духу скиннеровской теории. Во-первых, «ошибочно говорить, что пища оказывает подкрепляющее действие **потому**, что мы чувствуем голод, или **потому**, что мы чувствуем потребность в пище» (Skinner, 1974, р. 50). Чувство голода есть лишь ощущение некоторого условия, участвующего в процессе подкрепления, причем это условие действует вне зависимости от того, ощущается оно или нет. Во-вторых, — и это главное — связь между реакцией и возникающим после нее безусловным стимулом, подкрепляющим ее, является не предметной, содержательной связью, а отношением *временного следования*. Они могут быть, конечно, связаны и содержательно-предметно, когда оперантная реакция является предметной причиной возникновения в стимульном поле животного подкрепления, но таковой эта связь будет лишь по совпадению, а не по существу. С точки зрения скиннеровской схемы оперантного обусловливания реальный характер связи между реакцией и подкреплением (и формы чувственной данности животному этой связи) несущественен, то есть теоретически не различим (хотя эмпирически он, конечно, вполне может быть зафиксирован). Реакция в этой схеме будет подкреплена

потому, что безусловный стимул **последовал** за ней, а не потому, что она его **вызвала**.

Оперантная реакция (ответ)

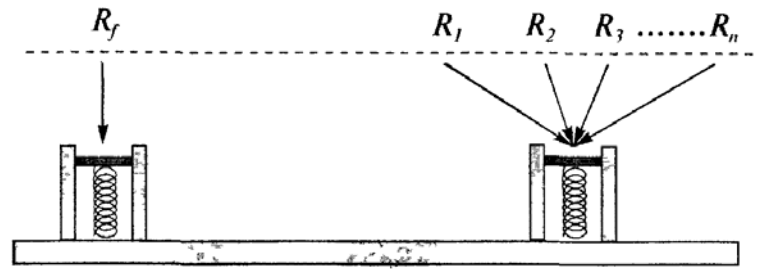
Центральным звеном, сердцем радикального бихевиоризма является представление об оперантной реакции. Если в результате подкрепления оперантный рефлекс S—R не появляется, не исчезает и никак не перестраивается, а лишь увеличивается или уменьшается вероятность его появления, значит и часть его, реакция R, в прижизненном опыте животного не испытывает никаких преобразований. Оперантная реакция есть, таким образом, врожденное, твердое, не изменяющееся в онтогенезе двигательное образование. В этом своем готовом виде она время от времени «выбрасывается» организмом в среду и затем, как пружина, вновь возвращается в исходное положение. Она, так сказать, предлагает процессам приспособления принять себя такой, как она есть, и только назначить ей ту или иную частоту своего проявления при наличии определенной стимульной ситуации. Подобно герою авантюрного романа (см. *Бахтин*, 1975), она возвращается после столкновения с предметным миром в том же виде и состоянии, в котором ушла, ни на йоту не изменившись, а только испытав и удостоверив в этом столкновении свой неизменный состав. Реакция не деформируется и не преобразуется, в ее фактуре не остается никаких осадков, примесей и следов от ее выхода в свет. Это представление мы будем условно называть абстракцией «чистого движения»⁵.

⁵ С равным правом ее можно было бы назвать и абстракцией «готового», «твердого», «атомарного» или «генотипического» движения. Эта абстракция является одним из вариантов общей и коренной для всего бихевиоризма и рефлексологии абстракции «непредметного движения». Но об этом — речь впереди.

Если пренебречь некоторыми тонкостями, можно сказать, что наблюдать «чистые» движения мы могли бы только имея оптический прибор, вычитающий все влияния, которые оказываются на эти движения со стороны внешних предметов. В реальном же эмпирическом наблюдении мы имеем дело всегда с «фенотипом» данной реакции, который есть равнодействующая его врожденного состава и сил внешней среды.

Здесь, в этом пункте своей концепции, Скиннер сталкивается с самой, вероятно, сложной теоретической и методической проблемой — *проблемой идентификации данного оперантного ответа*. Она должна рассматриваться в двух аспектах — во-первых, как проблема отождествления нескольких в разное время происходящих реакций, во-вторых, как проблема временных границ, начала и конца данной оперантной реакции.

На идентификации разновременных реакций основывается весь массив экспериментальных исследований радикального бихевиоризма. В самом деле, если экспериментатор должен оценить изменение вероятности появления реакции, он должен быть уверен, что наблюдаемая им сегодня реакция животного есть та же самая реакция, которую животное осуществляло вчера. Предположим, в эксперименте исследуется оперантная реакция нажатия на рычаг, причем подкрепляются только нажатия с определенной силой F . Такая реакция и будет искомым оперантным ответом R_f . Если самописец, фиксирующий силу нажатия, достигает отметки F , значит произошла данная реакция R_f . Но все дело в том, что животному доступно практически бесконечное число движений $R_1, R_2, R_3, \dots R_n$, с помощью которых можно произвести одинаковое нажатие экспериментального рычажка. Схематически в векторном виде это можно изобразить так:



R — реакция, производящая нажатие на рычаг с силой F

Множество реакций, которые действуют на рычаг с вертикальной силой F

Схема 2. Идентификация реакции по силе нажатия на рычаг

Что считать подкрепляемой реакцией R_f — операционально ли фиксируемый **результат** нажатия с определенной силой на рычаг или те *конкретные движения* животного $R_1, R_2, R_3, \dots R_n$ ⁶, которые приводят к этому результату? Последние не могут считаться подкрепляемыми реакциями, поскольку мы просто не знаем, какие (или какая) из них имели место во время данного эксперимента, и потому не можем судить, увеличилась ли их вероятность в результате подкрепления. Значит, за подкрепляемую реакцию следует принять некоторое гипотетическое движение R_f , относительно которого невозможно утверждать, происходило оно в действительности или нет. Иначе говоря, об оперантной реакции мы судим только по ее результату, а не по ее реальному двигательному составу, и отождествляем в рамках данной экспериментальной ситуации все реакции, имеющие один и тот же результат. Следовательно, когда дело доходит до эмпирического наблюдения, оказывается, что оно не дотягивается до тех теоретически постулированных сущностей — оперантных реакций, которые представляют со-

⁶ Класс таких реакций Скиннер называет оперантом (*Fester, Skinner, 1957*).

бой неизменные именно со стороны своего двигательного состава образования, изменяющие лишь вероятность своего возникновения в результате подкрепления. Мы никогда не можем быть уверены, что действительно произошла та же самая реакция, что и в прошлый раз, поэтому то, что мы экспериментально фиксируем в качестве оперантной реакции, ни в коем случае нельзя онтологизировать. И Скиннер, действительно, отказывается от попытки онтологизировать реакцию, а вслед за ней и рефлекс (*Skinner, 1931*)⁷.

Нормальное функционирование научной теории предполагает постоянное сличение теоретически выводимого и эмпирически наблюдаемого, а здесь между ними проводится непреодолимый барьер: как теоретик, Скиннер желает свести реакцию к определенному, фиксированному материальному составу; как экспериментатор, он получает нечто совсем другое. Вот и приходится, чтобы не рисковать исходными теоретическими убеждениями, отказываться сопоставлять эти две сферы, отказываться

⁷ Но если не послушаться Скиннера и продолжить линию его экспериментов до онтологической плоскости, то там обнаружатся скандальные для правоверного бихевиоризма вещи. Вследствие оперантного обусловливания возрастает вероятность достижения животным определенного предметного результата. Однако чтобы достичь одного и того же результата (и Скиннеру об этом прекрасно известно — *Skinner, 1931*), животному приходится всякий раз осуществлять другое движение. Единственная возможность онтологически толковать эти факты состоит в необходимости признать, что оперантная реакция не сводима без остатка к материальной фактуре движения, что в ней кроме «сокращения мышц, растягивания сухожилий и движения костей» есть что-то еще, какая-то инстанция, изнутри конституирующая ее целостность, форму и организацию в данных конкретных обстоятельствах, стягивающая двигательный материал в орган уникальной встречи с миром, инстанция, которую можно назвать «целью», «моделью потребного будущего», «акцептором действия» и т.п.

от онтологического толкования полученных экспериментальных данных, то есть от того, ради чего эксперимент, собственно говоря, и существует.

Однако без онтологии в положительной науке не обойтись, гони ее в дверь, она влетит в окно. И Скиннер вынужден жертвовать казавшейся такой надежной позитивистской приземленностью и пускаться, хоть и не в далекие, но от того не становящиеся более операциональными, метафизические путешествия в поисках предустановленной гармонии между поведением, существующим само по себе, и его оперантным анализом: «При описании поведения обычно предполагается, что поведение и окружающую среду можно разбить на части и что они будут сохранять свою идентичность от эксперимента к эксперименту. Если бы это предположение не было бы в некотором смысле оправданным, наука о поведении была бы невозможна... Анализ поведения не является актом произвольного подразделения, и мы не можем полностью определить понятия стимула и реакции просто как частей поведения и окружающей среды, не принимая во внимание тех естественных линий, вдоль которых поведение и окружающая среда действительно членятся» (*Skinner, 1935 a, p. 347*).

Но посмотрим, в какой мере метод оперантного обусловливания способен членить поведение по имманентным поведению «естественным линиям». При этом мы переходим к рассмотрению второго, временного аспекта проблемы идентификации оперантной реакции. Точнее, здесь следует говорить не о самой реакции, а о рефлексе, ибо вне рефлекса реакции нет, «вне отнесенности к своей корреляции со стимулами, поведение есть просто часть тотального функционирования организма» (*Skinner, 1931, p. 346*).

Если бы «тотальное функционирование организма» состояло из точечных атомарных реакций с нулевой длительностью, и если бы события окружающей среды также оказывали бы точечные, моментальные воздействия на организм, да к тому же, чтобы стать «стимулами», выстроились бы в колонну по одному и действовали бы друг за другом в

строгой очередности, тогда в мире оперантного бихевиоризма можно было бы ожидать законосообразности и порядка: стимул — реакция, стимул — реакция, стимул — реакция. Однако существует два простых факта, которые вносят смуту в этот упорядоченный стимул-реактивный марш организма от рождения до смерти. Первый из них состоит в том, что множество стимулов возникает и действует на организм одновременно, равно как одновременно может осуществляться и множество реакций. Второй заключается в том, что и реакция, и стимул — не моментальные события, они имеют длительность.

Каким образом можно с учетом этих фактов идентифицировать определенный оперантный рефлекс $S_i — R_i$, по крайней мере, установить начало и конец данного рефлекса и его составных частей? Условимся обозначать буквой *a* начало действия стимула, а буквой *b* — окончание. Обозначим также начало и конец реакции буквами *x* и *y* соответственно. При таких обозначениях началом рефлекса является событие *a*, а концом — событие *y*. Идеальной для теоретических схем радикального бихевиоризма являлась бы ситуация, когда сразу же после *b* следует *x*, и тогда весь рефлекс в проекции на временную ось складывается из двух интервалов — $(a—b) + (x—y)$. Изобразив «поле стимулов» выше оси времени, а «поле реакций» — ниже, получим следующую схему (см. схему 3а).

Однако все оказывается не так просто. Поскольку Скиннер, верный махистскому принципу отказа от категории причинности, утверждает, что «стимулы **не вызывают** оперантных реакций; они просто изменяют вероятность, что эти реакции произойдут» (Skinner, 1974, р. 223), то кроме стимула *S* любой из имевших место до или/и во время реакции стимул $S_1, S_2, S_3, \dots S_n$ может считаться стимулом данной реакции (см. схему 3б).

Бессмысленно ставить вопрос о том, какой именно стимул является «настоящим» — мы можем принять за него любой из них и в результате получим ряд рефлексов $(S_1—R_i), (S_2—R_i), (S_3—R_i), \dots (S_n—R_i)$, вероятность которых изме-

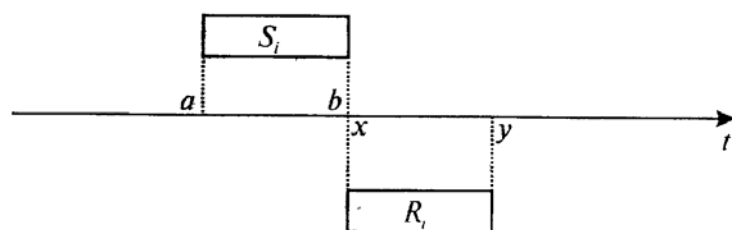


Схема 3а. Идеальные временные отношения между стимулом и реакцией в оперантном рефлексе

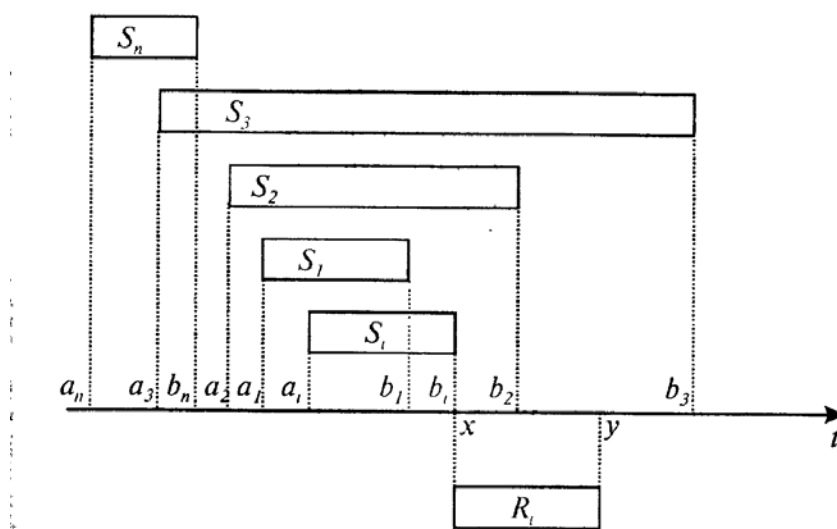


Схема 3б. Проблема идентификации временных границ начала оперантного рефлекс и начала оперантной реакции. На схеме над временной осью изображено множество стимулов разной длительности. Их объединяет лишь то, что любое $a < x$, то есть что начало стимула предшествует началу реакции

няется после подкрепления. Другими словами, точка b , момент окончания стимульного события, отнюдь не обязательно совпадает с точкой x , моментом начала оперантной реакции, точка же a , с которой следует отсчитывать начало рефлекса, из-за множественности стимулов и вовсе является неопределенной. Единственное, что возможно сделать для

придания большей определенности началу оперантного рефлекса, — это ограничить временную область, в которой может начаться оперантная реакция, зафиксировав момент исчезновения последнего имевшего место безусловнорефлекторного стимула (подкрепления). Все, что произошло в окружающей среде после последнего безусловного стимула, может претендовать на статус S_i — стимула оперантного рефлекса. Это ограничение, впрочем, тоже страдает неопределенностью, поскольку вызванная подкреплением безусловная реакция может продолжаться и после того, как подкрепление исчезнет из стимульного поля, а как определить, где кончается эта безусловная реакция?

Не намного большей определенностью, чем начало, обладает и конечная точка оперантного рефлекса. По крайней мере здесь начисто отсутствует какая-либо внутренне конституированная целостность реакции, задающая присущую ей границу. Оперантный ответ может быть прерван в любой произвольно взятой точке u появлением подкрепления — безусловного стимула, в ответ на который сразу же (впрочем, и это «сразу же» — отнюдь не очевидная вещь) начнет разворачиваться уже другая, безусловная, реакция. Появление подкрепления подводит черту под осуществляющейся оперантной реакцией. Но так как экспериментатор волен вводить подкрепление в любой момент, то тем самым он может прервать реакцию в любой произвольно выбранной точке, нисколько не считаясь с «естественностью» такого обрыва. Если поведенческая «речь» будет застигнута подкреплением на «полуслове» или даже посредине недописанной двигательной «буквы», оперантной реакцией будет считаться вовсе не это «слово» и не «буква», а искусственно оторванное подкреплением их начало. Что же остается тогда не только от благих намерений Скиннера «принимать во внимание те естественные линии, вдоль которых поведение действительно членится» (*Skinner, 1935 a, p. 347*), но и от самих этих линий?

Можно, конечно, было бы попытаться спасти природную целостность реакции как единицы поведения, если предположить, что, несмотря на появление подкрепления,

реакция еще продолжается вплоть до присущей ей «естественной границы» и только там останавливается. Но на такой шаг Скиннер пойти не может, ибо в этом случае придется признать, что кроме фундаментальной схемы оперантного обусловливания $S_0 \rightarrow R_0 \Rightarrow S_1 \rightarrow R_1$ (где $S_0 \rightarrow R_0$ — оперантный рефлекс, скажем, нажатие на рычаг при виде рычага, $S_1 \rightarrow R_1$ — безусловный рефлекс, например, появление пищи и реакция ее поедания, а стрелкой обозначено отношение временной последовательности) существует такой вариант отношений между оперантной реакцией R_0 и подкрепляющим стимулом S_1 , когда действие S_1 начинается до того, как завершилась реакция R_0 . В проекции на временную ось эти отношения можно изобразить таким образом.

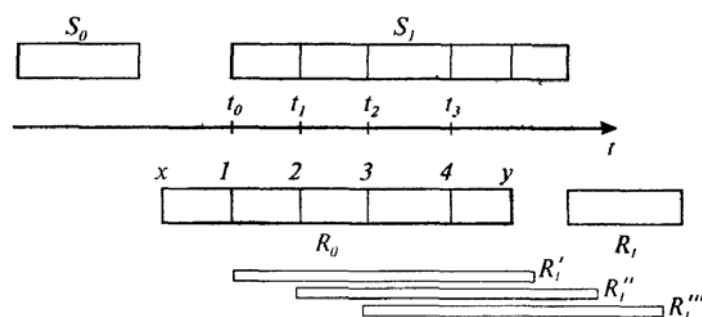


Схема 3в. Вариант временных отношений между оперантной реакцией R_0 и подкреплением S_1 . На схеме $S_0 \rightarrow R_0$ — оперантный рефлекс; S_1 — подкрепление (безусловный стимул); R_1 — безусловная реакция

В этом случае совершенно непонятно, что же именно «подкрепляется» в начале действия стимула S_1 . Может быть, только тот фрагмент реакции ($x \rightarrow 1$), который успел осуществиться до t_0 , начала действия подкрепления? А что подкрепляется в точке t_1 — фрагмент ли реакции (1—2) или фрагмент ($x \rightarrow 2$)? Словом, степень неопределенности становится так высока, что рассыпается краеугольный камень радикального бихевиоризма — фундаментальная схема оперантного обусловливания с ее основным принципом следования подкрепления за оперантной реакцией. Понят-

но, что это была бы слишком дорогая цена за указанную попытку спасти естественную целостность реакции как единицы поведения.

Итак, вопреки декларациям Скиннера, эксперимент оказывается не прибором, с помощью которого можно объективно наблюдать естественные части поведения, а ножницами, кроющими это поведение как заблагорассудится. И остается только слепо верить, что ножницы эксперимента по какому-то мистическому стечению обстоятельств точно попадают на швы между отдельными поведенческими актами.

Таким образом, и при рассмотрении временного аспекта обсуждаемой проблемы оказывается, что скиннеровский эксперимент не способен улавливать и идентифицировать теоретически постулируемые единицы поведения. Следует только оговориться, что эта неспособность метода строго очертить временные рамки реакции и решить таким образом стоящую перед ним теоретическую проблему в какой-то мере компенсируется достаточным для многих технических целей резким сужением зоны протекания оперантной реакции за счет сильного уменьшения интервалов между следующими друг за другом подкреплениями. Поэтому, кстати сказать, в качестве положительного подкрепления при дрессировке животных Скиннер рекомендует пользоваться не пищей, поскольку ее невозможно быстро предъявить и поскольку придется ждать окончания безусловного реагирования, а условным сигналом о пище (*Skinner, 1951*).

Резюмируем сказанное относительно понятия оперантного рефлекса. Зона протекания оперантной реакции ограничивается (но не очерчивается) двумя следующими друг за другом безусловными стимулами. Это другая формулировка того положения, что оперантная реакция осуществляется в условиях отсутствия безусловного стимула и вне данности животному связи его реакции с возможным появлением подкрепления. То есть оперантная реакция не осуществляется **«ради чего-то»**, иначе говоря, не подлежит

действию *целевой* причинности. Не происходит она и «**потому что**» появился некоторый стимул или возникла определенная потребность⁸, то есть за ней не стоит и *действующая*⁹ причина. **Материальный** состав реакции (то есть те конкретные движения, которые вызвали наблюдаемое перемещение рычажка или другое действие) является неопределенным, а ее конкретная **форма** задается случайно, внешним образом — прерывающим реакцию появлением подкрепления, то есть о *материальной* и *формальной* причине оперантной реакции говорить тоже не приходится. Итак, понятие оперантной реакции ни в одном пункте не несет причинного характера. Оперантный рефлекс только вероятностен, это — поведенческая случайность.

3. Предмет исследования — оперантное приспособление организма к среде

В современной методологии уже стало общим местом, что предмет научного исследования — это не просто некоторая область действительности, а содержательная абстракция, выделяющая и описывающая определенный аспект этой области и задающая форму и характер стоящих в ней проблем.

Чтобы определить предмет исследования радикального бихевиоризма, нужно описать, как в этой теории представляется основной механизм приспособления организма к среде и каково представление о самой этой среде.

Из предыдущего изложения ясно, что центральный вопрос, который стоит перед Скиннером, заключается в объяснении того, как из случайных движений, являющихся частями «тотального функционирования организма», из движений, которые содержательно никак не связаны с условиями среды, не меняются в процессе жизни осо-

⁸ «Мы не можем назвать отдельной единой инстанции, вызывающей реакцию» (Skinner, 1935 a).

⁹ Мы пользуемся здесь учением Аристотеля о четырех видах причин — целевой, действующей, материальной и формальной (Аристотель, 1975).

би и являются, так сказать, двигательными «выбросами» организма, как из этих движений возникает поведение, поддерживающее существование животного и внешне кажущееся «целесообразным».

Рассматривая понятие оперантного ответа, нетрудно заметить его сходство с биологическим понятием мутации. Оперантный ответ так же относится к онтогенезу, как мутация к филогенезу. И Скиннер действительно считает, что процесс индивидуального приспособления следует мыслить по образцу приспособления видового (а последнее — как процесс случайный, строго по Дарвину). Движение точно так же, как мутация, может случайно оказаться выгодным организму и будет в этом случае подкреплено, так что вероятность его осуществления в будущем поведении возрастет. Процесс индивидуального приспособления превращается в «естественный отбор» случайных движений организма (а процесс обучения, соответственно, в «искусственную селекцию» этих до и независимо от всякого обучения и тренировки сложившихся движений). В функциональном плане поведение в каждый данный момент будет представлять собой слепую пробу, которая при благоприятном стечении обстоятельств может случайно (хотя, быть может, и с очень большой вероятностью) оказаться целесообразной.

Какой должна быть среда животного, чтобы такой механизм приспособления был необходимым и достаточным для обеспечения его жизнедеятельности?

Условием, задающим *необходимость*, является такая организация среды, при которой отсутствует всякая данность животному в какой-либо чувственной форме жизненно важных для него объектов («подкреплений») и способа их возникновения в стимульном поле. А раз так, раз появление этих объектов всегда является непредвиденной случайностью — либо «чудесным даром», либо «иррациональной карой», появляющимися из некоторой трансцендентной реальности принципиально не прослеживаемым образом, то, естественно, животное вынуж-

дено действовать «наобум», производить слепые пробы. Коль скоро приходится действовать в абсолютной темноте, когда невозможно наблюдать за тем, как именно твои действия приводят к хорошим или плохим результатам, ничего другого не остается, как превратиться в суеверное существо¹⁰, действующее не на основе знания и опыта, а на основе случайных совпадений.

¹⁰ У Б.Ф. Скиннера есть статья, которая так и называется «"Суеверие" у голубей» (*Skinner, 1938*). В этой работе он еще и еще раз утверждает, что обусловливание происходит только в силу временных отношений последовательности между реакцией и подкреплением, совершенно независимо от того, вызывает ли реакция появление подкрепления в результате какой-то предметной связи или нет.

В эксперименте перед голубем вращался частично выдвинутый из-за стенки диск, в одном месте которого лежал корм. Пока корм проходил мимо, птица клевала его и, естественно, поворачивалась по ходу вращения диска. Когда корм уходил из поля зрения, голубь продолжал поворачиваться, как бы «веря», что его движения вызывают появление корма. «Эксперимент, — убеждает Скиннер, — продемонстрировал своего рода суеверие. Птица ведет себя так, как если бы существовала каузальная связь между поведением и появлением пищи, в то время как таковая отсутствует» (*там же*, р. 407).

Скиннер полон здесь пафоса разоблачения детерминистских иллюзий. Но что, собственно, доказывает этот эксперимент? Что птица является настолько высокоразвитым существом, что его можно обмануть, — камень не обманешь, а вот птица способна вести себя как бы суеверно, когда биологически иррационально организована среда.

В мире есть место случайности, и ответом животного на объективную случайность являются слепые, случайные пробы, но из этого вовсе не следует, что все поведение животного может быть сведено к этим случайным пробам. Радикальный бихевиоризм не раз обвиняли в дегуманизации человека, но для него это обвинение — просто поблажка, философское преступление, которое может быть инкриминировано теории, куда серьезней — это деаними-

Что касается *достаточности* «случайного» приспособления, то она могла бы быть гарантирована двумя условиями. Первое из них состоит в том, что среда должна обладать конечным набором ситуаций, а животное — равнопорядковым этому набору репертуаром движений. Второе — в том, что среда должна обладать стабильностью, хотя бы временной. Тогда во время очередного стабильного периода перераспределением вероятностей входящих в репертуар организма оперантных рефлексов можно было бы достичь приспособления к среде.

И последнее: «Чтобы быть эффективным, подкрепление должно предлагаться почти одновременно с желаемым поведением» (*Skinner*, 1951, р. 413). Если мы наблюдаем некоторое разворачивающееся движение, то, по логике Скиннера, преимущественно подкрепляется завершающая его часть, непосредственно предшествую-

зация животного. Скиннер заставляет животное действовать как механизм, а не живое существо.

Дух изобретательства, мучивший Скиннера с детства, кажется, обслуживал какую-то сверхценную фантазию, требовавшую создать механизм, который был бы полностью послушен воле создателя, но двигался бы при этом совершенно самостоятельно. «Я всегда что-то строил, — вспоминает Скиннер детские годы. — Я строил роликовые самокаты, управляемые вагоны, санки и массу всего, чем можно было управлять в мелких водоемах. Я делал качели, карусели и горки. Я делал рогатки, луки и стрелы, духовые ружья и водяные пистолеты из бамбука, а из старого парового котла — паровую пушку, из которой мог стрелять картофельными и морковными снарядами по соседским домам. Я делал волчки, чертенят, модели аэропланов, движимые скрученной резиной, воздушных змеев и жестяные пропеллеры, которые можно было запускать в воздух при помощи катушки и веревки. Снова и снова пытался я сделать планер, чтобы полетать самому... Много лет я трудился над вечным двигателем. (Он не работал.)» (*Skinner*, 1967. — Цит. по: *Холл, Линдсей*, 1997, с. 614). «Он не рабо-

щая появлению подкрепления; а значит, если это движение достаточно долговременно, то начальные его части не подкрепляются, и «возникающее в результате угасание аннулирует влияние подкрепления» (*Skinner*, 1938). Каким образом? Например, первая часть движения составляет необходимое звено для осуществления завершающей части, и тогда рост вероятности последней, который является следствием подкрепления, будет ограничен низкой вероятностью начального этапа.

Отсюда следует, что для того, чтобы приспособление на основе оперантного обусловливания было эффективным, среда должна предоставлять животному подкрепление очень часто, разбивая его поведение на мелкие участки.

При этом, разумеется, предполагается, что поведение — это либо цепочка рефлекторных актов, либо недифференцированный поток «тотального функционирования»,

тал» — этот вздох сожаления, сдерживаемый ребрами скобок, выдает контролируемую, но так и не утоленную страсть.

Животные в эксперименте Скиннера по сути оказались не более чем очень удобной деталью самодвижущихся установок. Особенно показателен в этом отношении скиннеровский проект 1960-х годов, по которому голуби должны были помещаться в самонаводящиеся ракеты и обеспечивать их попадание в цель. Ладно бы еще крыса, но голубь — этот символ мира, управляющий смертоносным оружием, — такой эстетической нечуткости можно ожидать только от изобретателя вечного двигателя. Так и видится нездоровый блеск глаз, так и слышится характерный пафос, от которого добра не жди: «Использование животных организмов в пилотировании ракеты больше — скажем это беспристрастно — не сумасшедшая идея. Голубь — удивительно тонкий и сложный механизм, способный осуществлять то, что можно сейчас заместить лишь куда более громоздким и тяжелым оборудованием...» (*Skinner*, 1960. — Цит по: *Холл, Линдсей*, 1997, с. 650). «Сложный механизм» — какова похвала голубю! Хорошенькое утешение пернатому камикадзе!

то есть что отсутствующий внутренний механизм, стягивающий для животного все это долговременное движение в нечто единое.

Так, из позитивистского пуризма отбросив идею инстанции, внутренне конституирующей целостность поведенческого акта (будь то потребность, цель, «модель потребного будущего» и т.п.), Скиннер загнал свое мышление в необходимость метаться между идеей атомарной дискретности поведения, состоящего из врожденных двигательных атомов, и идеей недифференцированной континуальности поведения, произвольно разделяемого на любые доли очередными подкреплениями.

Итак, среда в онтологии радикального бихевиоризма представляется как

а) перенасыщенная подкреплениями, состоящая почти сплошь из кнутов и пряников, которые ведут животное на коротком поводке, не дают ни минуты передышки, не доверяя его нюху, ориентировке, инстинкту, опыту, хитрости и прочим несуществующим вещам;

б) состоящая из стандартного набора положений, к каждому из которых в поведенческом арсенале животного имеется подходящий ключик — врожденная, готовая и неизменная реакция;

в) трансцендентная опыту животного, закрытая непроницаемой завесой от перцептивного и действенного исследования и в этом смысле абсолютно иррациональная, непредсказуемая, откликающаяся в лучшем случае вероятностно на обращенные к ней поведенческие «реплики». Словом, не только животное рассматривается радикальным бихевиоризмом как «черный ящик», но и мир, с которым имеет дело животное, — тоже оказывается «черным ящиком». Так собственный позитивистский гносеологический образ проецируется в онтологию.

4. Объект исследования

Однако реальные условия среды обитания и характер поведения в ней животного¹¹ существенно отличаются от только что описанных. Во-первых, поведение в большинстве случаев разворачивается при чувственной данности животному жизненно важного объекта. Поведение строится, «имея в виду» (часто — в буквальном смысле слова) искомый объект и предметные условия его достижения, и в столкновении с этими условиями перестраивает свои характеристики так, чтобы движение достигло цели. Поведение вовсе не представляет собой цепочки бессмысленных, наугад, как в лотерее, выпадающих друг за другом двигательных проб, рано или поздно «наталкивающихся» на счастливый номер — безусловный раздражитель (подкрепление).

Во-вторых, как отчетливо показал Н.А. Бернштейн, животные, ведущие подвижный образ жизни, сплошь и рядом имеют дело с уникальными ситуациями. Например, при преследовании жертвы все многочисленные характеристики ее движения, рельефа местности, различных помех и препятствий, многочисленные инерционные силы в теле хищника как сложной динамической системе создают для последнего настолько особенную ситуацию, что подкрепление всего комплекса произведенных им движений было бы не только биологически бесполезным, но даже вредным, поскольку вероятность точного повторения данной ситуации практически равна нулю, а закрепление только самого последнего поведенческого отрезка привело бы к тому, что хищник при появлении соответствующих стимулов с очень большой вероятностью совершал бы точно такие же, как и в предыдущем случае, движения заключительной фазы погони и, естественно, в новой ситуации неминуемо промахивался бы.

¹¹ Здесь, конечно, надо бы говорить об определенных видах, а не о животном вообще.

В-третьих, в большинстве случаев среда не предоставляет животному ежесекундных подкреплений.

Вот три принципиальных отличия реального объекта исследования поведенческих дисциплин (реального поведения в реальной среде) от того представления о нем, которое характерно для радикального бихевиоризма.

5. Метод

Скиннер справедливо обвинял Павлова в создании «концептуальной» нервной системы, а сам, как мы видим, создал «концептуальную» среду. Впрочем, он находился в гораздо более выгодном положении, потому что вполне мог воплотить и воплотил эту концептуализацию в реальный материал экспериментального метода.

Для того, чтобы эмпирически исследовать *оперантное приспособление организма к среде* (предмет радикального бихевиоризма), необходимо было *естественную жизнедеятельность животного* (то есть реальный объект исследования) уложить в прокрустово ложе идеального объекта — *обусловливаемого в результате подкрепления оперантного рефлекса*. Для этого достаточно произвести два «усечения»: во-первых, устранить всякую возможность целеустремленного поведения, во-вторых, создать «стабильную среду». Оба эти условия достигались помещением животного в знаменитый скиннеровский ящик. Набор предметных ситуаций таким образом резко ограничивался, а возможность целенаправленности поведения устранялась сокрытием подкрепления во время осуществления движения и случайным (для животного, но произвольным для экспериментатора) его предъявлением.

При этом экспериментальное разрешение основной теоретической проблемы — как из отдельных случайных реакций образуется многосоставное, внешне кажущееся целесообразным, приспособленное к среде поведение — не составляло никакого труда: всякое заранее задуманное экспериментатором поведение могло быть «построено» им (а не животным!) за счет подкрепления любого движе-

ния, развертывающегося в желательном направлении. Так поле естественных причинных следствий поведения замещалось искусственными, «условными» связями.

Здесь уместно сказать несколько слов о трактовке проблемы обучения у Скиннера. «Цель обучения он определяет как получение заранее намеченной (запрограммированной) системы внешних реакций, в терминологии Скиннера — набора поведений» (Талызина, 1975). Единственный критерий обученности — правильность заданной внешней реакции (*там же*). Главный принцип созданного Скиннером варианта программированного обучения состоит в том, чтобы разбить учебный материал на как можно большее число предельно малых шагов, максимально увеличив таким образом частоту подкреплений и «...снизив до минимума возможные отрицательные последствия допускаемых ошибок» (Скиннер, 1968, с. 42). Идеальной с этой точки зрения была бы такая программа, где учащийся не испытал бы ни одного затруднения, не совершил бы ни одной ошибки. За идеей такого «безошибочного» обучения лежит представление о врожденном репертуаре двигательных возможностей. Все отдельные ответные реакции предполагаются у обучающегося уже наличными (а если какой-то из них нет, значит, нужно продолжить дробление учебного материала до тех пор, пока на каждый его фрагмент не найдется адекватная реакция, пусть даже придется довести дело до сокращения отдельных мышц — ведь никаких принципиальных ограничений здесь нет), он уже все умеет, единственная задача — сцепить данные реакции в заданные последовательности. Так младший школьник в принципе мог бы овладеть, скажем, курсом физики для средней школы, если программа этого курса будет достаточно раздроблена. Что лежит в основе такого «овладения» — бессмысленное запоминание или содержательное понимание, что образуется в результате — понятия или пустые вербализмы, лишь по внешней форме совпадающие с ними, — все это остается неизвестным,

таких различий не существует в плоскости оперантной теории.

Нужно особо подчеркнуть показательность для скиннеровской методологии идеи минимизации шагов обучения и частого, так сказать, поточечного подкрепления. Хотя в реальной практике программирования дробление учебного материала проводится, конечно, до определенного предела, диктуемого свойствами самого этого материала, но теоретически метод Скиннера содержит возможность бесконечного членения поведения, ибо целостность единицы поведения конституируется здесь не предметной целью, а задается внешним образом появлением подкрепления.

Здесь снова и снова Скиннер оказывается в тупике перед решением главной проблемы поведенческих дисциплин — проблемы единиц поведения. Доведенная до абсурда идея неограниченного дробления поведения (а никаких принципиальных ограничений Скиннер не предлагает) выдает представление о деятельности животного и человека как об аморфном, гомогенном процессе, не имеющем внутреннего строения. Ибо то, что закономерно структурировано, невозможно членить на произвольные части. Нельзя бесконечно дробить поведенческий процесс, не рискуя разрушить его.

Сравнительный методологический анализ теории условных рефлексов и теории оперантного обусловливания

Подобно тому, как за явным содержанием сновидения психоанализ обнаруживает скрытое его содержание, так и за сознательной онтологической картиной, имеющейся у данного исследователя, кроется некоторая «действительная» онтология. Ее составляют глубинные убеждения о строении изучаемой области действительности, «самоочевидные» методологические постулаты и принципы. Явно же эксплицируемая онтология и теория являются результа-

том их вторичной переработки, в которой вопроса об истинности этих постулатов даже не возникает, они как нечто само собой разумеющееся оказываются вне поля критического обсуждения. Задача методологической критики как раз и состоит в выявлении содержания этого скрытого пласта научного мышления. И так же, как в психоаналитической практике, результаты такого толкования могут показаться автору и адептам анализируемой теории нелепым ее искажением, которое невозможно ни понять, ни принять. Но это непонимание относится уже действительно к области психологии личности, а не методологии и науковедения.

Хотя первичная онтологическая картина радикального бихевиоризма и учения о высшей нервной деятельности одна и та же — это схема «организм—среда», — но реальная исследовательская практика обеих концепций свидетельствует о чрезвычайно непохожих понятийных образах как организма, так и среды.

Мы уже видели (см. главу 2.2), что И.П. Павлов редуцирует живой организм до ЦНС, а реальную телесную деятельность животного до функционирования ЦНС (в особенности до высшей нервной деятельности, которая понимается как функция коры больших полушарий). Фантазия, воплощенная в теории условных рефлексов, похлеще гоголевской: какой-нибудь вполне респектабельный господин Нос, разгуливающий по улицам, — детские шалости по сравнению с такими монстрами, как вышедшие на охоту Нервные Узлы. С бесстрашием настоящего натуралиста И. П. Павлов наблюдает, как нервные узлы «тонко и точно **приспосабливают** свою деятельность к внешним условиям, ищут пищу, где она есть, верно избегают опасности». Да и как может быть иначе, если «последняя инстанция движения — клетки передних рогов спинного мозга» (*Павлов*, 1951, т. 3, кн. 2, с. 141—142), а вовсе не соприкосновение конечности с объектами и даже не сокращение мышц. Выходит, что действительным субъектом павловской он-

тологии является вовсе не «организм», а очищенная от мышц, сухожилий и прочего телесного состава центральная нервная система, даже — головной мозг по преимуществу. Итак, субъект павловской онтологии — «бестелесный мозг».

Б.Ф. Скиннер, в угоду своим позитивистским убеждениям, производит не менее радикальную чистку понятия «организм»: как обыватель он, конечно, знает, что существует сложное анатомическое строение и физиологическое функционирование организма, но как бихевиорист он принципиально отказывается видеть, что «за кожей» есть что-то, что существенно влияет на наблюдаемое поведение животного. Если бы материализовалась гносеологическая абстракция «пустого организма», мы стали бы свидетелями картины, не менее жуткой, чем разгуливающие по павловской онтологии нервные узлы, — навстречу им из скиннеровского ящика вышли бы, как привидения, выпотрошенные голуби и крысы.

Каков мир, в котором живут персонажи рефлексологических и бихевиористских триллеров?

Ясно, что «бестелесный мозг» не может обитать среди реальных, материальных вещей — пищи, которую нужно добыть, хищников, столкновения с которыми нужно избежать, преград, которые нужно преодолеть. Все это в павловской онтологии замещается сигналами, условными и безусловными, с материальными объектами субъект этой онтологии не взаимодействует, он имеет дело лишь с их информационным суррогатом¹². На внешний, вещ-

¹² Этот образ «среды» напоминает не реальное биологическое пространство жизни животного, а какую-то биологическую антиутопию. Увы, в отличие от утопий антиутопии имеют свойство сбываться. Индустрия виртуалистики дала сейчас целое поколение нервных мальчиков, героев компьютерных игр, для которых информационная компьютерная реальность обладает достоинством действительности в большей степени, чем реальность телесно-материальная.

ный мир (как и на телесное движение животного в этом мире) надевается шапка-невидимка павловского метода, делающая мир невидимым, прозрачным, как стекло, сквозь которое можно наблюдать за мозговыми процессами, не замечая самого стекла. Как и организм, среда подвергается гносеологической чистке, безжалостно освобождается от познавательно вредных, плотных, телесных, материальных, чувственно воспринимаемых компонентов. Ради «гносеологической прозрачности» (В. Набоков) среда по существу опустошается. То есть «бестелесному мозгу» как субъекту онтологии соответствует лишенный плотности, прозрачный и призрачный, «пустой мир» как среда обитания этого субъекта.

Но если, напротив, организм «пуст», как это постулируется в онтологии радикального бихевиоризма, если все его интересные для исследователя процессы жизнедеятельности локализованы не внутри, а вовне, по эту сторону кожи, естественно было бы ожидать, что такой дорогой ценой отказа от внутреннего куплено обостренное внимание к конкретным внешним формам взаимодействия животного с окружающей средой и, значит, к самой этой среде в ее материальном, предметном, биологически значимом виде. Но нет, научный взор Скиннера прикован к другому, к тому, дрогнет ли рычажок (или произойдет какое-либо иное заранее задуманное событие в экспериментальной установке) и как будет меняться частота сдвигов этого рычажка, если экспериментатор станет по известному ему плану «вбрасывать» внутрь своего устройства те или иные «подкрепления»¹³.

Поэтому реальная поведенческая среда, место, где решается судьба поведенческих актов животного, есть... сознание экспериментатора, то есть экспериментальный замысел и план проводимого эксперимента, в котором

¹³ Скиннер напоминает рыболова, все внимание которого вовсе не на рыбе — на поплавке. Возможно, там, внутри экспериментального ящика, у животного есть какая-то своя жизнь, но она объявляется непознаваемой вещью в себе.

заранее однозначно определены все заповеди поведения и расписаны награды и кары, сыплющиеся на животное за их исполнение и нарушение или даже вне всякой связи с ними. Этот, может быть, вполне разумный с точки зрения самого бихевиориста мир, с позиции животного, конечно, является иррациональным, темным, непредсказуемым¹⁴, он скрыт от животного непроницаемой завесой экспериментального ящика¹⁵.

Итак, если среда павловской онтологии есть прозрачный, «пустой мир», то среда скиннеровской онтологии, напротив, — «непрозрачный», темный, непознаваемый мир.

¹⁴ Такое впечатление, что Скиннер, сам того не ведая, сценически воплощает в материале экспериментального метода кальвинистскую теологию, в особенности учение об «абсолютном предопределении», по которому каждый человек изначально предопределен ко спасению или гибели и никакие его усилия не могут изменить этого. Так и поведенческий акт животного в скиннеровской модели окажется успешным (или неуспешным) не благодаря силе и ловкости животного, а по одному только предопределению экспериментатора, произвольно решающего, что именно и когда подкреплять.

¹⁵ Заметим, кстати, что непроницаема эта завеса в обе стороны: радикальный бихевиорист в качестве строгого ученого не заглядывает внутрь экспериментальной установки, а следит за показаниями приборов вовне. Так идея «пустого организма», нежелание гадать, что «за кожей», приводит к тому, что «кожей» становятся не границы тела животного, а граница экспериментальной установки; животное оказывается в радикальном бихевиоризме не «черным ящиком», а лишь гносеологически невидимой деталью «черного ящика», который по сути совпадает с экспериментальным скиннеровским ящиком. Тут уж у элементов схемы «организм—среда» остается мало общего с соответствующими биологическими категориями в их классическом понимании: роль «организма» начинает исполнять «экспериментальная установка», а роль «среды» — сам радикальный бихевиорист.

Последний и основной пункт методологического сопоставления учения о высшей нервной деятельности и оперантного бихевиоризма — научные представления обеих систем о процессе жизни организма в среде, о поведении, о том, что обеими объявляется главным предметом исследования.

Павлов последовательно отождествил ВНД и внешнее поведение животного¹⁶, и это тождество, возможное лишь при отвлечении от предметного характера двигательных актов животного, привело к тому, что поведение было редуцировано до функционирования одного органа — коры больших полушарий. Зная законы функционирования мозга, мы знаем законы внешнего поведения. Эта гносеологическая редукция, воплощенная в павловском методе, свела живое, предметное, гибкое, преодолевающее среду поведение живого существа к поведению паралитика.

Если бы вся жизнь собак, участвовавших в павловских экспериментах, стала такой, какой она рисовалась на страницах научных трудов, бедные животные погибли бы от зависти, глядя на живых псов, охраняющих дом, гонящихся за настоящими кошками, разгрызающих настоящую кость, в то время как сами несчастные жертвы мозгового фетишизма — «условно-рефлекторные» собаки вынуждены довольствоваться только условными и безусловными сигналами об этих славных вещах, а из реального поведения позволять себе только одно — пускать слюни.

Устанавливать условные связи между безразличными сигналами и сигналами безусловными, чтобы можно было отдать эфферентный приказ реагировать отныне и на этот, ставший теперь условным сигнал той же врожденной го-

¹⁶ Даже название одного из итоговых трудов академика («Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных» — Павлов, 1973) прямо указывает на это отождествление. Поведение было заключено в скобки как «ненаучный» синоним понятия «высшая нервная деятельность».

товой реакцией, что и на сигнал безусловный, — вот и все «поведение», доступное «бестелесному мозгу».

Увы, не больше **поведения** доступно существу, порожденному радикальным бихевиоризмом. Да чего, собственно, ждать от «пустого организма», помещенного в темную непрозрачную среду, кроме хаотических слепых двигательных выбросов, лишенных даже, строго говоря, качества «слепой пробы», ибо в понятие пробы включено пусть самое примитивное, но идеальное опережающее отражение, готовность извлекать и накапливать опыт.

Итак, в павловской модели субъект поведения сведен к «бестелесному мозгу», в скиннеровской — к «безмозглой телесности», само же поведение сведено в первом случае к «зрячему параличу», во втором — к «слепому движению».

При всех различиях этих концепций, доходящих до противоположности, они чрезвычайно похожи, как похожи в фотографии негатив и позитив. Скиннер — это Павлов наизнанку.

Но в чем же корень этого так явственно чувствуемого родства концепций? Он заключается, на наш взгляд, в игнорировании **предметного характера движения**.

Ни та, ни другая теория не знают управляемого животным телесно-предметного двигательного акта. Действительный **предметный** характер связи между реакцией животного и достижением биологически значимого результата (подкрепления) гносеологически игнорируется в обеих концепциях. Обе они не видят, что движение животного контактирует с предметом, что текущие характеристики движения при этом изменяются, что предмет существует для осуществления движения, что предмет и движение смыкаются в одно образование, не только физическое, но и психофизиологическое. Не видят, что движение может внутренне подлаживаться, подстраиваться под предмет, а не только вынужденно, физически подчиняться его грубой силе с тем, чтобы после окончания взаимодействия

тут же вернуться к исходному состоянию. То есть не видят, что движение перестраивается и даже развивается в ходе и в результате своего взаимодействия с предметом.

Подобно тому, как Павлов смотрит сквозь реакцию на мозг, не замечая существенности влияния двигательных реакций на само функционирование мозга, так Скиннер смотрит сквозь предметы и их изменения на оперантные реакции, не замечая существенности предметов для осуществления и формирования реальных двигательных оперантных реакций. Как для Павлова реакция — не более чем индикатор «чистых» мозговых процессов, так для Скиннера предметное изменение (например, смещение рычажка) — не более чем индикатор «чистой» оперантной реакции. Скиннер, как уже говорилось, обвинил Павлова в создании «концептуальной» нервной системы и был прав, но сам он создал «концептуальную» среду и «концептуальное» поведение, состоящее из фиктивных реакций — «оперантов», врожденных двигательных актов, «химически» чистых поведенческих атомов, полностью готовых к жизни до и независимо от реальной встречи животного с миром. Павлов в любой момент готов отказаться от реакций, от внешнего поведения животного, если ему предоставят возможность непосредственно наблюдать мозговые процессы; Скиннер отдал бы все, чтобы хоть одним глазком взглянуть на те постулируемые им «априорные» двигательные атомы, на те «естественные» частички поведения, которые организм наобум «испускает» в среду, получая впоследствии подкрепление, и которые доходят до исследователя всегда в замутненном предметным миром виде. Если бы дано было им просить невозможного, Павлов попросил бы очищенный от тела, но(!) нормально функционирующий мозг, Скиннер попросил бы очищенную от предметных сил среду, в которой, тем не менее(!), животное могло бы осуществлять движения.

* * *

Пики славы обоих ученых пришлись на XX столетие, хотя и отстоят друг от друга на полвека¹⁷. Несмотря на это, оба они по философскому складу своего мышления — представители научного классицизма XIX века. В этом классическом мышлении организм и среда (движение и предмет, субъект и объект) сначала изображались в онтологической картине как заведомо отдельные сущности, а лишь затем ставился вопрос о том, как организм устанавливает связь со средой. Обыденная «очевидность» отделенности живого организма от мира бралась за исходное методологическое положение, которое в самом главном предопределяло дальнейшее развитие научной мысли. В первую очередь, из него вытекало представление о некоторых предданных относительно индивидуального опыта организма формах реагирования, образовавшихся до и независимо от всякого деятельного соприкосновения со средой, которые в этом, уже готовом виде только запускаются определенной внешней стимуляцией, — о таких формах реагирования как о единственной основе, на которой строится все последующее поведение животного. Это представление выражалось у Павлова в мечте иметь полную номенклатуру врожденных безусловных рефлексов, у Уотсона и Скиннера — в представлении о репертуаре элементарных реакций, из которых склады-

¹⁷ А слава была и остается нешуточной. Академик И. П. Павлов стал первым из русских ученых лауреатом Нобелевской премии (1904). (Забавно, что именно в 1904 году родился Б.Ф. Скиннер.) Вплоть до последнего времени за рубежом самым известным из отечественных психологов(!) был никто иной, как физиолог И.П. Павлов. В 1971 году Американская психологическая ассоциация признала Бурхуса Фредерика Скиннера «самым влиятельным психологом в США» и «крупнейшим психологом всех времен после Фрейда» (журнал «Америка», 1972, № 194). Несмотря на помпезную безвкусицу, эти титулы кое-что да значат.

вается любое самое сложное поведение. Такие готовые, твердые двигательные формы при объяснении того, как из них складывается целесообразное поведение, легко переходят в мышлении рефлексолога или бихевиориста в каком-то смысле в свою противоположность — в представление об изначально хаотических, недифференцированных двигательных реакциях, из подкрепления которых-де и складывается целесообразное поведение. Абстракции, с которыми мы встретились на этих страницах, — абстракции «готового движения», «простого движения», «слепого движения» сходны всего лишь в одном, но главном: в них нет инстанции, способной придавать движению внутреннюю цельность и структурированность, нет механизма, способного гибко подстраивать эту целостность под реальную предметную ситуацию, то есть нет того, что, собственно, и превращает движение в поведенческий акт, — субъективной мотивированности и объективной предметности.

Только движение, страстно направляемое живым существом и внутренне просветленное отражением текущих встреч с предметной реальностью, заслуживает имени поведения. Не случайно само слово «поведение» несет в себе идею управления на основе знания: вести и ведать.

2.4. К проблеме единства общей психологии

I

Всякое исследование начинается с удивления. Более полувека тому назад Л.С. Выготский пришел к выводу, что преодоление кризиса в психологической науке прямо связано с созданием особой дисциплины — «общей психологии» — теории «психологического материализма» (Выготский, 1982; Ярошевский, 1985; Ярошевский, Гургенидзе, 1982). Создана ли в советской* психологии (а лишь она будет интересовать нас в этой работе) такая общая теория? Стоит задуматься над этим вопросом, чтобы с удовлетворением ответить на него утвердительно, но тут же с недоумением признать, что... существует не одна, а по меньшей мере три общие психологии — теория отношений (В.Н. Мясищева), теория установки (Д.Н. Узнадзе) и теория деятельности (А.Н. Леонтьева)¹.

* В данном случае определение «советская» означало государственно-географическую привязку — психология, развивавшаяся в СССР. Более подробнее о лексических нюансах этого текста см. «Краткий исторический комментарий» к главе, помещенный в конце книги (с. 228). Здесь и далее сноски и примечания, сделанные при подготовке текста к печати в 1998 и 2002 гг., будут помечены «звездочками», чтобы можно было отличить их от «родных» сносок, помеченных цифрами.

¹ Почему названные теории приписаны именно этим авторам? Не они ведь были первооткрывателями психологических проблем отношения, установки и деятельности (достаточно вспомнить имена А.Ф. Лазурского, Л. Ланге, М.Я. Басова, С.Л. Рубинштейна). Да и что касается вклада в разработку этих проблем, то, например, заслуги С.Л. Рубинштейна в создании психологической теории деятельности не меньше, чем заслуги А.Н. Леонтьева. Дело в данном случае в другом, не в приоритете первооткрывателя и не в значимости теоретического вклада, а в возведении избранной психологической категории в особый

Ситуация была бы понятна и естественна, если бы эти теории выросли на разных философско-методологических почвах, в разных социально-исторических условиях или если бы речь шла о раздельных областях действительности, над каждой из которых теоретически властвует отдельная концепция. Но и философские основания, и социально-исторические условия у них одни и те же, и «территория», объявляемая «юрисдикцией» всех этих концепций, — тоже одна на всех.

К этому странному обилию общих психологий нужно как-то отнестись. Речь ведь идет не о мелочах, и даже не о какой-нибудь важной, но частной психологической дисциплине, а о главном — дисциплине, которая определяет предмет всей психологической науки, формирует категориальный аппарат, связывает между собой все частные факты и закономерности, открываемые в отдельных специальных исследованиях, словом, — речь о «голове» всей психологической науки. Можно, конечно, радоваться научному многообразию: «пусть расцветают все цветы», но можно взглянуть на ситуацию и иначе. Отсутствие общей психологии рассматривалось Л.С. Выготским как симптом недоразвитости нашей науки или даже как своего рода уродство методологического тела психологии. Организм, лишенный важнейшего органа, разумеется, ненормален, но и существо о трех головах нормальным не назовешь. Не утрачивает ли смысл само понятие общей психологии, более того — само понятие научной истины, если соглашаться с тем, что в Ленинграде может быть одна общая психология и, значит, как бы одна истина, в

методологический ранг: в отличие от С.Л. Рубинштейна А.Н. Леонтьев использовал категорию деятельности как ядро, центр всей психологической науки, а психологическую теорию деятельности превратил в общую психологию. Точно так же В.Н. Мясищев превратил в общую психологию теорию отношений, а Д.Н. Узнадзе — теорию установки.

Москве — другая, а в Тбилиси — третья? Если исходить из того, что психологическая наука должна иметь только одну общую психологию, то наличная теоретическая множественность превращается в настоящую проблему*.

Актуальность развернутой постановки этой проблемы определяется той глобальной исторической задачей, стоящей перед всей «новой» эпохой развития советской психологии, которая, по формулировке А.В. Петровского, заключается в формировании *системы* научных психологических знаний на основе марксистской философии (Петровский, 1967, с. 331—341). Но какая же может быть система без единой общей психологии? Ведь одного единства на уровне философско-методологических принципов, единства уже в основном достигнутого (Петровский, 1967; Рубинштейн, 1946, 1976; Ткаченко, 1977 и др.) явно недостаточно. Это философско-методологическое единство должно быть еще реализовано в конкретно-научных построениях, на предметно-теоретическом уровне². Предложить один из возможных подходов к этой реализации — главная цель настоящей работы.

Итак, имеются: с одной стороны, три общие психологии, три центральные категории (отношение, установка, деятельность)³, с другой — необходимость достижения

* Ностальгическое: вот уж и «Ленинграда» нет, и Тбилиси — далеко за горами, и представление о том, что «истина одна», кажется смешным анахронизмом не только во второй своей части — «одна», но и в первой — «истина».

² Стоит сразу же оговориться, что стремление к теоретическому единству, вытекающее из самой природы научного знания, отнюдь не совпадает со стремлением к объединению научных школ. Такое объединение не имеет смысла, да и неосуществимо, ибо школа — своего рода социальный «организм», целостность которого конституируется не одной только идейной общностью, но и целым рядом социальных, организационных, социально-психологических, биографических и прочих факторов.

теоретического единства. Конечно, рассуждая формально, можно приступить к решению задачи, так сказать, с дизъюнкцией в руках: верна одна и только одна теория. Но вряд ли кто-либо возьмется оспаривать, что в каждой из этих теорий содержится несомненная психологическая правда. Значит, задача достижения единства должна решаться путем **синтеза** этих концепций и их центральных категорий.

Однако само признание необходимости синтеза не предрешает того, будет ли одна из них взята за основу синтеза, а остальные включаться в нее как подчиненные, или все они будут использоваться на равных правах. Попытки пойти по первому пути⁴ кажутся нам недостаточно «экологичными». Поэтому основной тезис, кото-

³ Именно эти категории выбраны для анализа не потому, что все другие (скажем, категории отражения, сознания и пр.) можно считать менее важными, а в силу эмпирического исторического факта, что каждая из них послужила центром отдельной общепсихологической теории и дала ей свое имя.

⁴ Такие ассимилятивные попытки (сам факт которых лишний раз свидетельствует о тенденции к единству) предпринимались теорией деятельности и теорией установки друг по отношению к другу (Асмолов, 1979; Шерозия, 1979). Основной прием состоит здесь в том, что центральная идея конкурирующей теории рассекается на две части — абстрактную и конкретную, затем первая из них отбрасывается, поскольку в ней отказываются видеть реальное психологическое содержание, и ассимилируется лишь вторая. За своей же центральной категорией, выступающей как главный объяснительный принцип, признается право выражать абстрактную и конкретную части идеи в их единстве. Так, из одной теории «выплескивается» идея первичной установки и оставляется лишь феномен фиксированной установки (Асмолов, 1979), а из другой устраняется категория деятельности как объяснительный принцип психологии и берется лишь понятие «актуальной ("здесь-и-сейчас") деятельности» (Шерозия, 1979, с. 24). Словом, из концепции

рый мы собираемся отстаивать, состоит в том, что теории и категории установки, отношения и деятельности являются равноранговыми, неотъемлемыми и незаменимыми «органами» потенциальной целостной диалектико-материалистической общепсихологической теории.

2

Сначала необходимо обосновать, почему именно и только теории установки, отношений и деятельности выбраны как синтезируемые объекты. Для этого в первую очередь нужно доказать, что каждая из них действительно является общей психологией.

Воспользуемся представлениями Л.С. Выготского (*Выготский*, 1982) об общей психологии. Схематично их можно изложить следующим образом. Общая психология есть развивающееся научное образование, отвечающее объективной тенденции к единству научного знания. Тенденция к единству реализуется в двух взаимосвязанных тенденциях — к обобщению и к объяснению. Ядром общей психологии является центральная идея, которая включает в себя центральное (фундаментальное) понятие и главный объяснительный принцип. (Терминологически они могут выражаться одной категорией.) Можно выделить две основные фазы развития общей науки: в первой преобладает тенденция к обобщению, во второй — к объяснению.

На первой фазе развития общая дисциплина (точнее, пока лишь претендент на роль общей дисциплины) выделяет из всех предметов исследования психологии один как **центральный**, имеющий наибольшую познавательную

при такой процедуре извлекается ее, так сказать, методологическая «душа». И хотя для критикующей теории такая ассимиляция полезна, но в силу того, что она не осваивает полную суть критикуемой концепции, теоретическая победа оказывается иллюзорной, по крайней мере, с точки зрения обсуждаемой проблемы синтеза.

ценность. Далее все остальные предметы последовательно подводятся под понятие центрального, так что к концу первой фазы оно приобретает еще и статус *общего понятия*, фиксируя то общее, что есть во всех предметах данной сферы действительности. На протяжении всей первой фазы сохраняется непосредственный познавательный интерес к центральному предмету.

Во второй фазе развития общей науки центральный предмет постепенно заполняет собой всю онтологию и начинает пониматься как *сущность* по отношению другим предметам, рассматриваемым теперь как явления этой сущности. Соответственно этому в гносеологическом плане центральное, обобщающее понятие превращается в *объяснительную категорию*, или *объяснительный принцип*. При этом значительно утрачивается непосредственный познавательный интерес к нему и возбуждается интерес к другим, связанным с ним предметам и проблемам, которые начинают исследоваться и объясняться, исходя из этой категории. В результате происходит перестройка всей прежней структуры науки вокруг нового категориального центра.

Соответствуют ли такому понятию общей психологии теории отношений, деятельности и установки? Для теорий деятельности и установки, которые сами объявляют себя «общепсихологическими» и которые не раз подвергались критике именно за попытку централизации психологического знания вокруг одной категории (см. Обсуждение докладов по проблеме установки., 1955; Юдин, 1978), это соответствие настолько очевидно, что в пределах данной работы мы считаем возможным опустить его подробное доказательство. Наибольшие сомнения в этой связи может вызывать теория отношений, развивающаяся меньше в общетеоретическом плане, а больше в плане конкретных исследований. Поэтому ограничимся демонстрацией соответствия понятию общей психологии лишь этой теории.

Ее претензии на роль общей психологи видны даже до специального методологического анализа, они проявляются уже чисто стилистически: в трудах В.Н. Мясищева психология отношений прямо со- и противопоставляется таким глобальным величинам, как «традиционная психология», «интроспективная психология», «функциональная психология», «структурная психология» и т.д. (Мясищев, 1960, с. 82, 84, 209, 219).

На первых этапах развития теории понятие отношения связывается со всеми другими важнейшими психологическими понятиями, тем утверждаясь как *центральное понятие* (ибо только центр в отличие от периферии непосредственно связан со всем). Далее оно начинает выступать как *общее родовое понятие*, под которое подводится все — ощущение, потребность, стремление, любовь, боязнь, интерес и т.д. (*там же*, с. 110, 213). Такое обобщение приводит к гносеологическому требованию рассматривать все психическое сквозь призму понятия отношения. «Все виды психической деятельности, — пишет В.Н. Мясищев, — в самом широком понимании можно рассматривать как известную форму отношения» (*там же*, с. 146).

По мере развития концепции категория отношения, последовательно «поглощая» все другие понятия, заполняет собой всю онтологическую картину, превращаясь из центрального, но все же частного предмета психологических исследований в предмет психологии как науки: «Психологию... можно определить как науку о человеке в его отношениях к действительности» (*там же*, с. 146). Вследствие такого превращения отношение в онтологическом плане начинает выступать как единая *сущность*, обнаруживающая себя не непосредственно, а через все другие психологические *явления*. «Есть ли надобность говорить об отношениях, — спрашивает В.Н. Мясищев, — когда реально существуют лишь действия?» Да, утверждает он, поскольку «то, что называется способностями, психичес-

кими функциями, процессами, представляет собой объективно различные способы реализации отношения человека к действительности» (*там же*, с. 153). Соответственно изменяется и гносеологический статус понятия отношения. Оно превращается в *объяснительный принцип* психологического познания, становится «принципом объективного исследования человека» (*там же*, с. 112). И, наконец, в методологической плоскости понятие отношения (правда, не одно, а вместе с понятием сознательной личности, которое, впрочем, само определяется через понятие отношения) объявляется основой, на которой должна строиться вся система науки, «общим принципом психологии» (*там же*, с. 18, 146).

Итак, мы видим, что психология отношений стремится к централизации всего психологического знания вокруг категории отношения, через которую определяются предмет всей психологии и объяснительный принцип психологического метода. Это свидетельствует, что психология отношений осуществляет себя как общая психология.

Доказать, что теории отношений, установки и деятельности есть общие психологии и, значит, могут участвовать в синтезе, — это полдела. Необходимо еще объяснить, почему для синтеза выбраны только эти три концепции. Строго говоря, нужно было бы, отвечая на этот вопрос, проанализировать теоретические представления П.П. Блонского, М.Я. Басова, Б.Г. Ананьева и др., но рамки работы позволяют коснуться лишь концепции такого выдающегося теоретика, как С.Л. Рубинштейн, имя которого прямо ассоциируется с задачей построения общей психологии. Почему же и эта концепция не включается нами в синтез как равноправный элемент? Может быть, ее автору не удалось решить поставленную задачу? Нет, С.Л. Рубинштейн создал общую психологию, но эта общая психология совсем иного рода, чем анализируемые три теории. Лежащее на поверхности (хотя в то же время весьма су-

щественное) отличие общей психологии, созданной С.Л. Рубинштейном, состоит в том, что она не сузила предмет психологии до одной категории. Эта психология по изначальному замыслу, стилю мышления автора и способу построения была *синтетической*. Теория С.Л. Рубинштейна, если брать ее в целом, а не в частностях, не может быть поставлена в ряд с теориями А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева и Д.Н. Узнадзе, но не потому, конечно, что она «слабее» или «сильнее» их, а потому, что она решала совсем другую задачу, работала в другой плоскости. Забегая вперед, скажем, что исторический вклад С.Л. Рубинштейна в систему советской психологии состоит в создании на основе марксистской философии общей онтологии психологической науки, «онтологии человеческого бытия»*, которая лишь неявно подразумевалась в концепциях установки, отношений и деятельности, а явно была разработана именно в теории С.Л. Рубинштейна.

3

Синтез теорий может быть плодотворен только в том случае, если всем им присуще глубинное родство, общность базовых методологических и онтологических представлений и в то же время у каждой из них есть своя

* В данном случае педалирование идеологической безупречности «онтологии человеческого бытия» было вызвано пониманием, что эти построения С.Л. Рубинштейна по своему экзистенциально-гуманистическому духу как раз противоречат антиперсонологическим установкам марксизма и потому уязвимы и нуждаются в защите. Такая мимикрия под марксизм преследовала не только охранительные цели, но и решала еще задачу отвоевывания внутри номинального марксизма «свободной философской зоны» по аналогии с тем, как в тоталитарном государстве могут существовать свободные экономические зоны (конечно, примерно с той же степенью свободы). — Прим. 1998 г.

категориальная специфика, отражающая различные аспекты реальности. Без этих условий синтезу грозит опасность искусственности, надуманности и пустого терминологического дублирования.

Чтобы определить, соответствуют ли теории отношениям, установки и деятельности этому методологическому требованию, нужно сопоставить их друг с другом. Однако лучшим способом такого методологического сопоставления будет не сравнение теорий попарно, а «измерение» их с помощью одной общей меры. Такую меру не приходится искусственно изобретать, она существует. Чтобы обнаружить ее, достаточно вспомнить, что каждая из разбираемых теорий создавалась и оформлялась в постоянном противопоставлении классической буржуазной психологии^{**}. Эту последнюю, следовательно, можно признать такой общей мерой, общей точкой отсчета и подойти к сопоставлению теорий (и категорий) отношения, установки и деятельности через анализ сходств и различий в их критике и преодолении классической буржуазной психологии.

^{**} Это словосочетание «классическая буржуазная психология» не используется Леонтьевым, Узнадзе и Мясичевым. Они противопоставлялись *«старой»* психологии, а чаще — *«буржуазной»*. Понятно, что последняя квалификация, во-первых, не точна (ничего специфически *буржуазного* в психологии XIX века не было), а во-вторых, носит чисто идеологический классовый характер. Поэтому введение обобщенного наименования *«классическая буржуазная психология»* придавало более приличный, научный характер исторической полемике анализируемых теорий со старой психологией и, главное, являлось аллюзией на блестящую статью М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьева, В.С. Швырева «Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии» [1972], где вводилось понятие «классической буржуазной философии». — Прим. 1998 г.

Теория отношений В.Н. Мясищева

Начнем с концепции В.Н. Мясищева. Исходный пункт противопоставления теории отношений классической психологии состоит в принципиально различном понимании общих задач психологии как науки. Академизму классики В.Н. Мясищев противопоставил практическую направленность новой психологии: научно-психологический интерес к человеку должен определяться практическими задачами «воспитательно-образовательной работы» с личностью, ее лечения и т.д. (Мясищев, 1960). Вполне понятно, что такой подход сразу же потребовал радикального преобразования общей онтологической картины психологической науки. Традиционная психология изучала, по словам В.Н. Мясищева (1960, с. 82), «субъекта в себе». Образ же человека, лежащий в основе психологии отношений, — это не рефлектирующий одиночка, а человек трудящийся, человек, живущий среди других людей.

В рамках общей картины действительности наука должна выделить свой *предмет*, то есть ответить на вопрос «о чем она?» В противоположность традиционной психологии, которая объявляла своим предметом психику, В.Н. Мясищев определял свою теорию как «учение о **конкретной личности**» (*там же*, с. 71).

Осуществить конкретное исследование всего предмета науки «целиком» невозможно, поэтому необходимо выделить в нем такую доступную непосредственному эмпирическому исследованию «часть», изучение которой вело бы к познанию всего предмета. Эта «часть» в плане метода предстает как «*единица анализа*», а в онтологическом плане — как *центральный предмет исследований*. Если общим предметом психологической науки перестает быть психика как самостоятельная сущность и им становится «**конкретная личность**», то центральным предметом психологических исследований и, соответственно, «единицей анализа» пе-

рестает быть «абстрактный психический процесс» (*там же*, с. 34) и становится **отношение личности**.

В концепции В.Н. Мясищева необходимо различать широкий и узкий смысл понятия отношения. На первых шагах теоретического конструирования для В.Н. Мясищева было важно подчеркнуть понимание отношения именно как «единицы» личности, то есть подчеркнуть, что отношение — это в первую очередь чье-то отношение, хотя, разумеется, оно всегда остается отношением к чему-то. Это понятие отношения в широком смысле — как отношение личности к действительности вообще (*там же*, с. 110, 146). На следующем (логическом, а не хронологическом) этапе формирования понятия отношения оно специфицируется под влиянием знаменитого тезиса Маркса о том, что «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (Маркс, т. 3, с. 3). Хотя на уровне методологической рефлексии В.Н. Мясищев нередко соблазнялся предельно широким, неспецифическим для психологии понятием отношения, включая в него все — «от обмена веществ до идейного общения» (Мясищев, 1960, с. 212), на уровне конкретно-научной проработки категории отношения ее доминантой становился смысл, заданный формулой Маркса. А именно: если задача состоит в психологическом изучении сущности человека, исследование должно поставить во главу угла не всякое его отношение к действительности, а особое, специфически человеческое «общественное отношение», то есть отношение к другому человеку, к людям, к различным их группам и общностям. Эти отношения признаются теорией В.Н. Мясищева исходными и формообразующими для всех других отношений: «Общественные отношения формируют все иные его отношения с внешней действительностью» (*там же*, с. 69). А раз так, то и в познавательной плоскости они должны быть признаны центральными: «...Изучение человека в его отношениях

представляет изучение человека **прежде всего** (выделено нами. — *Ф.В.*) в его связях с людьми, то есть преодоление той "робинзонады", которую разоблачили основоположники марксизма», — так заканчивает В.Н. Мясищев (*там же*, с. 230) одну из своих программных статей.

Итак, академизму классической психологии В.Н. Мясищев противопоставил практическую направленность науки, исходному онтологическому представлению этой психологии о «субъекте в себе» — представление **о реальной социальной жизни человека**, предмету старой психологии (психике) и «единице анализа этого предмета» (абстрактному психическому процессу) — новый предмет и новую «единицу» (конкретную **личность** и ее **отношение к действительности**). Причем главным смыслом, доминантой категории отношения и центральным предметом исследований следует считать **отношение человека к человеку**.

Теория установки Д.Н. Узнадзе

Д.Н. Узнадзе обнаружил в основании всей классической психологии одну «роковую предпосылку» — «постулат непосредственности». Общетеоретические построения Д.Н. Узнадзе вдохновлялись пафосом противопоставления развиваемого им подхода — классической психологии, опиравшейся на этот постулат. Поэтому для лучшего понимания теории установки стоит взглянуть в методологический облик классической психологии. Это тем более важно, что автор другой психологической школы, которую нам предстоит анализировать в этой главе, А.Н. Леонтьев, также строил свою теорию в контексте напряженного методологического оппонирования той же «традиционной» психологии.

Если попытаться развить идею Д.Н. Узнадзе о «постулате непосредственности» как едином корне традиционной психологии, можно выдвинуть историко-психологическую

гипотезу о том, как собственно из этого корня вырастают все основные направления классического психологического мышления.

Выделим в «постулате непосредственности» две части — формально-логическую и содержательно-теоретическую. Формально-логический аспект «постулата непосредственности» фиксирует тип детерминизма, преобладавший в классической парадигме, а именно представление о простой и однозначной причинно-следственной связи как универсальной схеме психологического события.

В содержательном своем аспекте постулат непосредственности можно истолковать как ту философию классической психологии, согласно которой мир «делится на два» — на физические и психические явления.

Соединяя формальный и содержательный аспекты этого постулата, то есть полагая, а) что единицей психологического исследования выступает простое событие, состоящее из двух элементов — «причины» и «следствия», и б) что «причинным» элементом психологического события могут считаться и психические, и физические явления, равно как и «следствием» в составе психологического события могут быть все те же (иного в онтологии просто нет) физические или психические явления; соединяя, повторю, эти а) и б), получаем типологию вариантов «постулата непосредственности».

Таблица 1

Типология вариантов «постулата непосредственности»

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ		СЛЕДСТВИЕ	
		Психическое	Физическое
ПРИЧИНА	Психическое	Тип 1	Тип 3
	Физическое	Тип 2	Тип 4

Эта типология логически выводит из постулата непосредственности общую картину всей психологии XIX — нача-

ла XX века. Отдельные ее направления резко противостояли друг другу, являлись абсолютными антиподами (например, интроспекционизм и бихевиоризм), а между тем на уровне «философского генотипа» были кровными братьями. Каждый из этих вариантов постулата непосредственности послужил методологическим «архетипом» для одного из базовых направлений классической психологии. Перечислим их.

Тип 1. Причина — психическое, следствие — психическое. Первый тип репрезентирует основную проблематику интроспективной психологии, все ее системы, в основе которых лежит убеждение, что причины психических явлений следует «искать не где-нибудь за ними, а в них же самих, полагая, что психические явления обуславливаются психическими же причинами» (Узнадзе, 1966, с. 159).

Тип 2. Причина — физическое, следствие — психическое. Второй тип задает основную схему классической психофизики

Тип 3. Причина — психическое, следствие — физическое. В третьем типе фиксируются классические представления о психомоторике.

Тип 4. Причина — физическое, следствие — физическое. Четвертый тип выражает собой парадигму ортодоксального бихевиоризма и рефлексологии, этих «психологий без психики».

Всякое психическое явление непосредственно и однозначно вызывается другим психическим явлением (тип 1) или явлением физическим (тип 3). Всякий двигательный акт непосредственно и однозначно определяется некоторым психическим явлением (например, желанием) (тип 2) или физическим явлением (внутренним — возбуждением нервных клеток или внешним — стимулом) (тип 4). Таковы четыре варианта «постулата непосредственности».

Во всех этих случаях игнорируется роль субъекта — и в этом главный, с точки зрения Д.Н. Узнадзе, порок традиционной психологии (Прангишвили, 1960). Ее объяснения психики и поведения строились так, будто «...поведение

осуществляется помимо существенного соучастия субъекта» (Узнадзе, 1966, с. 328), а психические процессы являются самодостаточными и самодействующими сущностями. Вследствие этого классическая психология оказалась неспособной адекватно поставить и решить проблемы психического отражения и целесообразной деятельности (Узнадзе, 1966).

Д.Н. Узнадзе противопоставил старой психологии новые онтологические представления, в рамках которых эти проблемы могли быть поставлены и решены. В текстах основателя грузинской психологической школы может быть выявлена последовательная *система* процедур введения понятия установки, каждая из которых направлена против того или иного варианта «постулата непосредственности». Не излагая здесь всю эту систему, коснемся лишь важнейшей из этих процедур, которая осуществляется с помощью понятий «потребность» и «ситуация». Необходимым и действительным условием возникновения установки, повторял Д.Н. Узнадзе, следует считать единство актуальной потребности субъекта и ситуации ее удовлетворения (Узнадзе, 1966, с. 157, 168). Попытаемся реконструировать из этого положения онтологию, лежащую в основе теории установки.

Субъектный полюс онтологии конкретизирован в данном случае понятием «потребность». Но потребность — это всегда потребность в чем-то, она определена не через самое себя, а через объект. Следовательно, в понятии потребности, хотя оно и является представителем субъектного полюса онтологии, уже имплицирована связь субъектного и объектного полюсов, вне которой это понятие бессмысленно. Точно так же обстоит дело и с понятием ситуации. Хотя ситуация удовлетворения потребности — это нечто объективное, существующее независимо от произвола и воображения субъекта, но собственно *ситуацией* она не может стать вне отношения к живому существу, к субъекту. Ситуация — это не само по себе чисто внешнее объектив-

ное обстояние, взятое в себе, безотносительно к жизненному состоянию субъекта, но и не это состояние, взятое само по себе вне отношения к объектам, *ситуация — это единство обстояния и состояния*. Стало быть, и понятию ситуации внутренне присуща связь субъектного и объектного полюсов.

Но если понятия потребности и ситуации сами лишены односторонности и каждое из них несет идею неразрывной связи субъекта и объекта, то ясно, что понятие установки, возникающей на основе единства потребности и ситуации, выражает эту связь не просто в усиленной степени, а является, по существу, таким понятием, которое указывает уже не на связь *между* субъектом и объектом, определенными будто бы до и вне этой связи, а на связь, объемлющую субъект и объект, которые только внутри нее и получают определение и выделяются как отдельные моменты. Отсюда следует, что онтологическая суть категории установки состоит не просто в обнаружении опосредующего звена между психическим и физическим мирами, а в создании представления о едином «*жизненном мире*», сущностно предшествующем своим моментам — субъекту, объекту и их взаимодействию. Таково, на наш взгляд, наиболее абстрактное значение категории установки, конституирующее главную онтологическую идею психологической теории Узнадзе⁵.

Как же определяет эта психология свой предмет? В противоположность традиционной психологии Д.Н. Узнадзе полагает, что к познанию психики можно подойти не прямо, а опосредованно — через изучение **человеческой деятельности**. Это и есть *предмет психологии как науки*.

«...Наша наука, — писал Д.Н. Узнадзе, — призвана поставить вопрос о психологическом анализе и изучении закономерностей человеческой деятельности» (Цит. по: *Прангшвили*, 1960, с. 128).

⁵ Не случайно «предшественниками» понятия установки при развитии взглядов Д.Н. Узнадзе были понятия «биосфера» и «жизнедеятельность» (*Сарджвеладзе*, 1985).

В силу того, что главный порок классической психологии Д.Н. Узнадзе видел, как уже говорилось, в том, что она отвлекалась от самого действующего индивида, от целостного субъекта, *основным объектом* изучения в рамках общего предмета психологии он избирает **субъекта деятельности**.

Что же является «единицей» анализа субъекта деятельности и соответственно *центральным предметом конкретных исследований*? «**Установка**, понимаемая как модификация целостного субъекта» (Узнадзе, 1966), отражающая в себе конкретное состояние «жизненного мира», возникшее в результате «встречи» потребности и ситуации. Всякий психический и поведенческий акт должен быть объяснен, согласно теории установки, по преимуществу из *субъекта*, как реализация определенного его состояния или «модуса» — установки, но само это состояние понимается не как внутри самого субъекта и только из него вызревшее *субъективное* состояние, а как объективное *субъектное* состояние, детерминированное единством потребности и предмета, ее удовлетворяющего (Узнадзе, 1966, с. 322).

Таким образом, онтология, которую Д.Н. Узнадзе противопоставил онтологии классической психологии, может быть названа «**онтологией жизненного мира**» (см. Василюк, 1984). Предметом психологии становится **человеческая деятельность**, а основным объектом изучения в рамках этого предмета выступает **субъект деятельности**. Единица анализа субъекта деятельности и, соответственно, центральный предмет конкретных исследований — это определенная «**модификация целостного субъекта**», или *установка*.

Теория деятельности А.Н. Леонтьева

По мысли А.Н. Леонтьева, исходное онтологическое различие классической психологии есть различие

явлений внутренних, психических, данных в непосредственном переживании, и явлений внешних, материальных (Леонтьев, 1972, с. 337). Психология, начинающаяся с такого различения, «не может стать действительно содержательной и реальной наукой» (там же, с. 338). Марксистская, материалистическая* психология, считает А.Н. Леонтьев, должна исходить из совершенно другой онтологии — включающей «действительного индивида», материальный мир и процесс жизни индивида, практически связывающий его с миром.

Формируя предмет психологической науки в пределах своей онтологии, классическая психология объявляла им либо саму психику, отождествляемую с сознанием и понимаемую как самостоятельная субстанция, либо — в бихевиоральных системах, считавших психику эпифеноменом, — «поведение», мыслившееся механистически. В противоположность этому представлению психология, по определению А.Н. Леонтьева, есть наука «о порождении, функционировании и строении психического отражения реальности, которое опосредствует жизнь индивидов» (Леонтьев, 1975, с. 12). Иначе говоря, психика входит в предмет психологии, но не исчерпывает его, ибо она предстает как неотъемлемый элемент некой системы (жизни), не существующий вне ее. Следовательно, изучать психику невозможно в отрыве от изучения процессов жизни, и психология должна включать их в свой предмет. «Точка зрения психологии, — говорил А.Н. Леонтьев, — есть точка зрения жизни, и психология не смеет ее покидать» (Леонтьев, 1983, с. 38). Но процессы жизни — это процессы деятельности. Значит, в соответствии с исходной онтологией в предмет психологии должна быть включена триада

* В такого рода контекстах хорошо видно, как слова «марксистская», «материалистическая» используются не столько как точные философские термины, сколько как идеологические замены слов «подлинная», «истинная», «реальная», «содержательная». — Прим. 1998 г.

«субъект—деятельность—предмет», где субъект предстает как «единица» «действительного индивида», деятельность — как «единица» процесса жизни, а предмет — как «единица» мира. Каким образом деятельность — центральное звено этой триады — входит в предмет психологии? Она входит «не особой своей "частью" или "элементом", а своей особой функцией. Это функция полагания субъекта в предметной действительности и ее преобразования в форму субъективности» (Леонтьев, 1975, с. 92).

На уровне формирования «единиц» анализа абстрагирование от этой реальности приводило в классической психологии к тому, что **деятельность**, которую она изучала (а «психология, — замечает А.Н. Леонтьев, — всегда, конечно, изучала деятельность...» — *там же*, с. 89), выступала либо в форме фетишизированных, самодействующих психических процессов, когда мышление мыслило, память запоминала и т.д., либо в форме «слепых» реакций, изнутри не просветленных отражением и извне не детерминированных предметами. Соответственно этому **субъект** предстал либо как «самосознание» — в интроспекционизме, либо как «реактивная машина» (Леонтьев, 1975, с. 23) — в бихевиоризме и рефлексологии. И, наконец, **предмет** выступал в старой психологии либо как «стимул» (Асмолов, 1983), либо вообще изгонялся за пределы психологии, считаясь вещью «протяженной», материальной и потому не имеющей прямого отношения к изучению «непосредственного опыта». («Если я хочу познать ощущение сладости, зачем мне изучать сахар?» — восклицал психолог-интроспекционист.)

Последняя из этих проблем, не нашедшая своего решения в классической психологии, — проблема предметности стала в концепции А.Н. Леонтьева решающей (Асмолов, 1983; Давыдов, 1983) при выработке представлений об «отдельной» деятельности как психологической «единице» анализа и центральном предмете конкретных исследований. А.Н. Леонтьев совершил чудовищный с точки зрения

классической психологии акт: он ввел в психологию реальную вещь, которая получила психологическое гражданство, представ как предмет деятельности субъекта, более того, обретая порой достоинство главной детерминанты «отдельной» деятельности, ее мотива.

Итак, противопоставляясь классической буржуазной психологии, концепция А.Н. Леонтьева в качестве исходной онтологии использовала схему **«жизнь-индивида-в мире»**, своим предметом она объявила **предметную деятельность субъекта, порождающую психическое отражение и опосредствуемую им**, в качестве «единицы» анализа и центрального предмета исследований она сформировала представление о структуре **«отдельной» деятельности** (деятельность—действие—операция; мотив—цель—условия).

4

Даже такого поневоле краткого и упрощенного анализа перехода от классической психологии к трем ведущим направлениям советской психологии достаточно, чтобы выбрать «масштаб» и структуру сопоставления теорий и категорий деятельности, установки и отношения.

Эти теории делали одно общее дело перестройки психологии на марксистской* основе. Каждой из них руково-

* Марксизму как официальной идеологии присягали все три теории, это была непреложная идеологическая константа. Проблема действительных отношений той или иной концепции с действительной философией Маркса в советское время не могла быть поставлена, ибо сам факт такой проблематизации, независимо от личной искренности вопрошающего, социально-идеологическим контекстом превратился бы в донос. Сейчас же выяснение отношений той или иной теории с марксизмом — историко-психологическая задача вполне правомочная, хотя, впрочем, столь же не актуальная. Ограничиваясь первыми впечатлениями, можно отметить, что теория установки внутренне была совер-

дило убеждение, что психология и психолог должны включиться в реальную жизнь общества, в практику производственную, воспитательную, медицинскую и т.д. Такое понимание задач заставило эти психологии повернуться лицом к жизни и рассматривать психику не как над и вне жизни существующую субстанцию, а как реальный момент самой жизни. Старая психология стремилась познать **жизнь души**, новая — **одушевленную жизнь**.

На уровне полагания исходной онтологии три разбираемые концепции при всех терминологических различиях, которые мы здесь не учитываем, едины в убеждении,

шенно независима от марксизма, теория деятельности, напротив, сознательно развивалась А.Н. Леонтьевым именно как конкретно-научная психологическая реализация марксовской философии. Что касается теории отношений, хотя она и «припала» к небольшому набору подходящих цитат из сочинений Маркса, трактующих проблему человеческих отношений, но сам В.Н. Мясищев, обладая, нужно думать, многими талантами, в том числе и глубокой теоретической интуицией, был, кажется, лишен дара точной категориальной проработки своей теоретико-философской позиции. И, тем не менее, у всех трех концепций была, в самом деле, глубинная философско-методологическая общность, которая роднила их между собой и роднила с философией Мааркса, но кроме нее и со множеством других направлений мысли, и которая в самом деле отличала их от психологической классики XIX века. Это общее — представление о том, что человеческая психика определяется реальным процессом жизни человека — приписывалось марксизму как единственному легальному (и по советской логике — «единственно истинному») философскому источнику, независимо от того, как дело обстояло на самом деле. Образно говоря, научный товар у всех трех теорий был вполне качественным и по принципиальным характеристикам сходным, но кроме того у всех имелся сертификат «марксистского», независимо от того, «производился ли он на Малой Арнаутской улице в Одессе» или был по происхождению настоящим «марксистским». — Прим. 1998 г.

что психология человека должна исходить из действительных предпосылок, «от которых можно отвлечься только в воображении. Это действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни» (Маркс. Т. 3, с. 18). Преодолевая классическую онтологию «изолированного индивида», все концепции противопоставили ей марксистское учение о деятельности и социальной сущности человека. Однако в рамках конкретно-научных разработок это преодоление в теории В.Н. Мясищева шло преимущественно по линии критики «робинзонады», то есть изолированности индивида от мира людей, а в теориях А.Н. Леонтьева и Д.Н. Узнадзе — преимущественно по линии критики изолированности индивида от предметного мира⁶.

Далее, на уровне формирования предмета психологической науки и В.Н. Мясищев, и Д.Н. Узнадзе, и А.Н. Леонтьев критиковали старую психологию за то, что

⁶ Нужно настойчиво подчеркнуть, что речь идет только об акцентах развития теорий и соответственно о доминантах кристаллизующихся в них категорий. Признание и научно-психологическое раскрытие социальной сущности человека, его психики и деятельности является существенным и неотторжимым свойством теорий деятельности и установки. Это утверждение не требует специального доказательства. Достаточно вспомнить, что, по А.Н. Леонтьеву, деятельность человека всегда включена в систему отношений общества (Леонтьев, 1975, с. 82), что предмет ее — всегда человеческий, общественный предмет (Леонтьев, 1972, с. 364—366), что, по формулировке Д.Н. Узнадзе, «человек живет и действует, то есть существует, не только для себя, но и для другого; особенно следует остерегаться того, чтобы опять противопоставить "общество", как "абстракцию", "индивиду"» (Узнадзе, 1966, с. 275). Равным образом В.Н. Мясищев, считая главным «...изучение человека прежде всего в его связях с людьми» (Мясищев, 1960, с. 230), конечно же, не абстрагировался и от его связей с предметной действительностью, не зря ведь в исследованиях 1930-х годов основное внимание он уделял отношению человека к труду. Все говорили обо всем, но логические ударения делали разные.

она рассматривала психику в отрыве от системы **«человек—жизнь—мир»**. Но и в этом пункте была различная акцентировка: В.Н. Мясищев и Д.Н. Узнадзе фокусировали свое внимание на том, что психика рассматривалась классической психологией в отрыве от своего «носителя» — личности, «целостного субъекта», от живущего **человека**, а А.Н. Леонтьев преимущественно направлял свои усилия на преодоление абстракции психики от **человеческой жизни**, которая ее порождает, и от **мира**, который она отражает. Теории отношений и установки пронизаны пафосом возвращения (введения) человека в психологию, теория деятельности — пафосом возвращения (введения) жизни в психологию.

Поэтому основным объектом изучения в психологической системе В.Н. Мясищева стала личность, в психологической системе Д.Н. Узнадзе — субъект деятельности, а в психологической системе А.Н. Леонтьева — деятельность субъекта.

На уровне выбора «единиц» анализа эти различия основного объекта изучения выразились в том, что В.Н. Мясищев и Д.Н. Узнадзе выделили структурные «единицы» (отношение как единица структуры личности, установка как единица структуры целостного субъекта⁷), а А.Н. Леонтьев — «процессуальные» («отдельная» деятельность, действие, операция как единицы процесса деятельности). Другими словами, понятия установки и отношения фиксировали нечто потенциальное («динамическое»), что может реализовываться в процессах жизнедеятельности, а понятие деятельности — нечто актуальное, сам процесс такой реализации.

Эти сходства и различия между теориями и категориями деятельности, установки и отношения позволяют построить следующую категориальную типологию психологических единиц человеческой жизни.

⁷ В.Н. Мясищев (1970, с. 12) писал, что установка и отношение не представляют собой «в конкретном плане процесса, хотя и могут изменяться».

Таблица 2

Типология психологических «единиц» человеческой жизни

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ		ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА	
		Человек (как динамическая структура)	Жизнь (как актуальный процесс)
МИР	Предметный мир	1. УСТАНОВКА	2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	Мир людей	3. ОТНОШЕНИЕ	4.

Исходным предметом типологического анализа является «жизнь человека в мире». В нем выделяются два аспекта — «жизнь человека» и «мир». Каждый из них, в свою очередь, делится на два аспекта: «мир» — на «предметный мир» и «мир людей», а «жизнь человека» — на «человека», рассматриваемого как некая потенциально активная, то есть «динамическая» структура, и «жизнь», рассматриваемую как «актуальный процесс». Пересечение этих оппозиций дифференцирует исходное целое на четыре «состояния». Правило чтения типологии: например, деятельность (тип 2) — это психологическая единица анализа актуального процесса жизни человека, взятого в его отношении к предметному миру.

Из предшествующего обсуждения ясно, почему типы 1-й, 2-й и 3-й обозначены соответственно как установка, деятельность и отношение. Однако остается еще одна свободная клетка этой категориальной типологии. По логике схемы она должна быть заполнена категорией, выражающей форму осуществления процесса жизни, который реализует отношение человека к другим людям. Вполне очевидно, что в качестве этой категории может выступать лишь одно — категория *общения*.

5

В процессе преодоления классической психологии в нашей науке были созданы три общепсихологические теории, центральными категориями которых являются категории установки, отношения и деятельности. Мы обнаружили, что эти теории едины в своем понимании онтологии, из которой должна исходить психологическая наука. В то же время при определении предмета науки, выборе основного объекта изучения и формировании «единицы» его анализа обсуждаемые концепции расходятся, что в итоге выражается в разнице их центральных категорий. Однако это расхождение мало напоминает ситуацию «лебедя, рака и щуки», а скорее ситуацию планомерного разделения труда, поскольку анализ обнаруживает, что данные категории связаны в стройную логическую систему, в которой они хотя и противопоставлены друг другу, но — не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие.

В этой категориальной системе есть еще один неотъемлемый элемент — категория общения. Следовательно, по логике истории в отечественной психологической науке должна быть создана и соответствующая теория. Такую задачу нужно было бы поставить, если бы она не была уже поставлена в исследованиях А.А. Леонтьева (*Леонтьев*, 1974), придавшего проблеме общения общепсихологический статус, и особенно — Б.Ф. Ломова (1975), который пошел дальше, наделив категорию общения статусом «нового методологического принципа» (см. *Абульханова-Славская*, 1980, с. 90)⁸.

Думается, что указанную задачу можно было поставить и более остро, как задачу построения особой **общепсихологической теории общения**, в которой общение выступило

⁸ Речь не о том, что эти авторы первые открыли проблему общения для психологии, а о превращении ее из частной в общепсихологическую (ср. со сноской 1).

бы не просто как важная среди равных категорий и не просто как один из методологических принципов, а как центральная категория и главный объяснительный принцип⁹. Подобную «острую» постановку проблемы следовало бы мотивировать не тем, что общение будто бы не может быть рассмотрено с точки зрения схемы предметной деятельности, разработанной А.Н. Леонтьевым, как полагает Б.Ф. Ломов (1975; 1979)¹⁰, а стремлением детально проработать саму категорию общения, чтобы проследить до конца все ее потенциальные возможности, стремлением, вытекающим из понимания огромного (хотя, естественно, не безграничного) значения этой категории для общей теории психологии.

Итак, мы убеждены в том, что создание общепсихологической теории (равноранговой теориям отношения, установки и деятельности), которая сделала бы общение центральной категорией и последовательно свела бы к ней все психологические реалии, принципиально возможно и даже желательно.

Но одно дело принципиальная возможность и желательность и совсем другое — фактическая возможность. То реальное историко-научное обстоятельство, что эта теория,

⁹ Такая концепция позволила бы (а) ассимилировать огромный пласт исторических и онтогенетических фактов, где вещь выступает в действии и отношении к ней человека как «другой» (которого можно любить и ненавидеть, поклоняться и презирать) (Зинченко, Смирнов, 1983, с. 24), и (б) теоретически освоить в общепсихологическом контексте достаточно подробно проработанные вне этого контекста (в частности, в психоанализе и аналитической психологии, в транзакционном анализе и теории ролей, в философии и филологии) представления о личности как внутреннем общении, как «полифонии», а не «монолите» или механической структуре (Рубинштейн, 1976, с. 334; Цапкин, 1994).

¹⁰ Такое рассмотрение и возможно, и продуктивно, как показывает прекрасная (но почти незамеченная из-за малого тиража) работа Г.В. Гусева (1980).

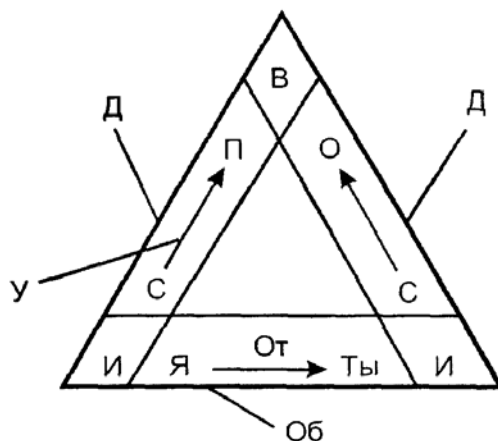


Рис. 1. Объединенная схема «психологических единиц»

На схеме одна из вершин треугольника символизирует индивида (И), вторая — вещь (В), третья — другого индивида (также И, чтобы не обозначать как «Ид», во избежание очевидных ассоциаций). Каждого индивида и вещь связывает деятельность (Д), в рамках которой индивид выступает как субъект (С), а вещь — как предмет (П) или объект (О). Вектор внутри тела деятельности, направленный от субъекта к предмету, символизирует установку (У). Двух индивидов связывает между собой общение (Об), в рамках которого они выступают друг по отношению к другу как Ты и Я. Вектор внутри общения, направленный от Я к Ты, означает отношение (От).

во-первых, начала развиваться в ситуации наличия уже вполне развитых общепсихологических концепций и, во-вторых, что она объективно является завершающей сложившуюся парадигму, противодействует ее оформлению в чистом виде. Это противодействие «самой истории» на поверхности научной жизни проявилось в интенсивной дискуссии о месте и значении категории общения в системе психологического знания (Абульханова-Славская, 1980; Гусев, 1980; Леонтьев, 1975; Ломов, 1975, 1979, 1981; Радзиховский, 1982 и др.). Нам кажется, что за разноголосицей взглядов и формулировок, прозвучавших в дискуссии,

начинают вырисовываться контуры общей, единой для всех онтологической схемы, которая соответствует приведенной выше типологии психологических единиц жизни.

Эта схема изображает целостную «единицу» жизненного мира человека в дифференцированном виде. Изначально в жизненном мире ребенка все ее элементы слиты в одно нерасчлененное единство. Младенец, кормящийся у груди матери, не отличает себя от акта сосания, от молока, от матери. Но и затем, в жизненном мире взрослого, хотя и происходит реальная дифференциация всех указанных моментов, сохраняется их генетическое и функциональное единство. Поэтому психолог, делая предметом своего исследования индивидуальную ли деятельность субъекта, совместную ли его деятельность с другим человеком (на схеме — связка С—П/В/О—С)¹¹ или любой фрагмент целостности, должен осознавать, какую именно он при этом производит абстракцию.

Возьмем для примера самый «непсихологический» пункт схемы — полюс вещи. Разумеется, вещь сама по себе не может интересовать психологию, поэтому-то классическая психология, отвлекаясь от всей системы связей, вводящих

¹¹ Эта «связка» — одна из множества возможных частных модификаций исходной схемы (ср. с предложенной Б.Ф. Ломовым схемой «субъект—субъект», где средний элемент опущен, а также с выдвинутой Л.А. Радзиховским схемой «субъект—объект—субъект» (*Радзиховский, 1982*), в которой средний элемент присутствует, но в нерасчлененном виде). Упомянутое множество возможных модификаций создается, во-первых, тем, что в каждом конкретном случае могут рассматриваться не все компоненты исходной схемы, а во-вторых, тем, что структурные места схемы не связаны жестко с наполняющим их содержанием. Скажем, структурное место «вещи» может занять деятельность другого человека или «мое» отношение к другому человеку и т.д. Анализ этого множества — задача особого исследования.

вещь в человеческое бытие, отказывалась включать ее в психологическую онтологию. Вещь, как она предстает перед психологическим взглядом на реальность, должна браться и как предмет, то есть в своем отношении к деятельности субъекта, и как объект, то есть нечто произведенное или хотя бы выделенное из мировой связи для субъекта другим человеком (людьми), словом, как объективация деятельности другого, и как точка схождения совместного действия, и даже как отношение человека к человеку (Зинченко, Смирнов, 1983). «Предмет как бытие для человека, как предметное бытие человека есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку» (Маркс, т. 2, с. 47). Эта философская формула имеет отношение к самой обыденной реальности. Скажем, плохо сшитый костюм — это не просто некий вещный продукт работы портного, это «наличное бытие» портного «для другого человека», в котором в предметной форме выражается его «человеческое (или нечеловеческое) отношение к другому».

Таким образом, любой фрагмент «жизненного мира», становясь предметом психологического исследования, должен рассматриваться во всей сложной системе опосредствований, в результате которой он в действительности выделяется как некая отдельность из целостного «жизненного мира». Любое конкретное экспериментальное исследование должно задавать совокупность условий отвлечения своего предмета от этой целостности, только тогда оно может рассчитывать на сознательное и последовательное выявление реальных закономерностей.

Что касается теоретико-методологических исследований, то целый ряд категорий, представленных в схеме, уже достаточно хорошо проработан в отечественной психологии — это категории субъекта, индивидуальной предметной деятельности, отношения, установки. Теперь же на первый план должна выйти разработка категорий со-

вместной деятельности, «совокупного действия» (Зинченко, Смирнов, 1983; Рубцов, 1987), и особенно категорий «другого» и «общения».

6

Подведем итоги. Было показано историческое и логическое единство категорий деятельности, общения, установки и отношения. Эти категории являются производными от единой онтологии «жизни человека в мире», содержащей в себе два аспекта — «жизнь человека» и «мир». Преимуществом заслуга разработки этих онтологических категорий, образующих фундамент единой общей психологии, принадлежит С.Л. Рубинштейну (1946; 1976). В этом его исторический вклад в систему советской психологии.

Разумеется, предложенная типологическая схема — не более чем историко-психологическая гипотеза. В рамках одной главы невозможно доказать эту гипотезу. Но главный смысл проведенного анализа даже не в таком доказательстве, а в демонстрации того, что поставленная Л.С. Выготским проблема единой общей психологии к 1980-м годам превратилась в конкретную теоретическую задачу создания единой категориальной системы, синтезирующей основные идейные достижения отечественной психологической мысли. Социальные перемены 1980—1990-х годов вывели такого рода задачу из круга актуальных, но логика истории не терпит пустоты — в том или ином виде эта задача должна быть решена.

Часть 3. Методологический анализ научной ситуации в психологии

3.1. Введение

В первой части пособия предметом методологического анализа становились отдельные психологические понятия и категории. Во второй части таким предметом выступали уже целые психологические концепции или школы. В третьей части фокусировка методологического объекта продолжается, так что в кадр попадает теперь вся психологическая наука. Это может быть психологическая наука в целом или какая-либо ее большая область, взятые в определенный исторический момент.

Жанр предлагаемого методологического исследования может быть обозначен как **ситуационно-исторический анализ состояния научной дисциплины**. Классическим образцом работ этого жанра является знаменитый труд Л.С. Выготского «Исторический смысл психологического кризиса». Каковы характерные черты такого типа методологического анализа?

Во-первых, он должен быть **«историческим»**. Ситуация, сложившаяся в науке, рассматривается в контексте исторического развития данной дисциплины. Однако если в обычном историко-психологическом исследовании история является «фигурой», а современная ситуация — «фоном», на котором (или даже «позицией», с которой) рассмотрение ведется, то в методологическом анализе как

раз **история** становится фоном, а современное положение дел и перспектива будущего попадают в центр внимания исследователя.

Во-вторых и в-третьих, подобный методологический анализ должен быть **«социологическим» и «культурологическим»**. Он рассматривает не только *ситуацию в науке*, но и *ситуацию науки*, ее положение в обществе и культуре. Перемены в науке происходят не только по имманентным законам развития самой науки, но и под воздействием изменений всего социально-культурного контекста, в котором наука существует. Новые практические задачи, новая общественно-актуальная тематика, новые культурные события, наконец, новые реалии — все это создает требовательную и формообразующую среду, создает глобальный вызов, на который наука, в данном случае психология, должна откликнуться. Этот вызов может потребовать от науки серьезных изменений, но ее задача состоит в том, чтобы, изменяясь, не потерять самое себя, не нарушить теоретическую, методическую, педагогическую и организационную преемственность своего развития.

Четвертое. Методологический анализ текущей ситуации должен быть **«философским»**. Особенно это очевидно в кризисных, переломных для науки и общества эпохах. Это значит, что описать и оценить *ситуацию в психологии* и *ситуацию психологии* нельзя по-мюнхгаузовски, изнутри самой психологии. Для этого нужны средства умозрения более широкие, нужны ценности внепсихологические, общий взгляд на мир и на человека, с позиций которого можно отнестись к тем представлениям о мире и человеке, которые культивируются в данный момент в психологии. Но не только расширение «узкого» научного сознания дает философский подход. Философия есть еще средство для бодрствования мысли. Позитивная наука, общество, да и культура всегда спешат, от одного исследования к другому, от одного свер-

шения к следующему, вперед, вперед, вперед, настоящей же философии чужды суэта и спешка, она способна остановиться, оглянуться, взглядеться.

Пятое. Методологический анализ ситуации науки должен быть «**стратегическим**», в том смысле, что он не просто констатирует тот или иной статус, не только прогнозирует тенденции развития, но и занимает активную по отношению к этому развитию позицию, намечает стратегические задачи собственно научных, прежде всего теоретических исследований.

Читатель вправе спросить: а нужно ли стремиться обучить этому метанаучному анализу старшекурсников и аспирантов психологических факультетов, не миссия ли это психологических академиков — давать методологическую оценку ситуации и задавать общее направление развития психологической науки? Может и так, но проблема в том, что «академик», за редким исключением, не хочет радикально менять основания науки, «научные революции» — дело молодых ученых. Но даже не это главное. Вопреки пословице, не обязательно плох тот солдат, который обходится без честолубивой мечты *стать генералом*, но по-настоящему хорош только тот солдат, который задолго до первой звездочки на погонах уже способен *быть* генералом, иметь общее, генеральное видение ситуации, чтобы ясно понимать и толково исполнять свой маленький, локальный маневр. Применительно к науке это не какие-то маниловские мечтания о глобальной методологической подготовке аспирантов, а самые обычные, рутинные требования ко всякой научной работе. Каждый пятикурсник, приступая к написанию диплома, а уж тем более каждый аспирант на начальном этапе работы над диссертацией должен ответить на сакраментальные вопросы — в чем актуальность, новизна, практическая значимость и теоретическое значение его исследования. Однако на эти вопросы нельзя ответить, не проведя методологический анализ ситуации, сложившейся в науке или по крайней

мере в данной области науки. А раз так, то необходимо попытаться дать молодому исследователю необходимые средства методологического анализа научной ситуации.

Предлагаемые в данной части работы образцы таких анализов относятся к совершенно конкретному историческому периоду отечественной психологической науки, который можно достаточно точно датировать с 1980 по 1996 г. В первой главе анализируются изменения, произошедшие за десятилетие с 1980 по 1990, а во второй — за десятилетие с 1986 по 1996. Похоже, что весь этот цикл радикальных перемен, происходивших параллельно с переменами в обществе, к самому началу XXI века завершился, и, значит, требуются новые интеллектуальные усилия для того, чтобы наша психология могла в очередной раз ответить на главный вопрос: «Камо грядеши?».

3.2. От психологической практики к психотехнической теории*

Камень, который отвергли
строители, соделался главою угла
(Пс117:22)

Практическая психология и психологическая практика

Отечественная психология так резко изменилась за последнее десятилетие¹, что кажется принадлежащей к другому «биологическому» виду, чем психология образца 1980 года.

Происходящие «мутации» заметны даже в сонной атмосфере официальной академической психологии, а уж в стихии социальной жизни от них просто рябит в глазах: появился массовый рынок психологических услуг — индивидуальное консультирование и психотерапия, детская и семейная терапия, развитие памяти и воображения, тренинга сензитивности и коммуникативных навыков, психологическая подготовка менеджеров и депутатов и прочее, и прочее.

Но в чем, спросят, такая уж принципиальная новизна? Разве это не простое расширение давно существующей

* См. примечание в разделе «Комментарии».

¹ Текст этой главы был написан в 1990, а впервые опубликован в 1992 г. При подготовке его к публикации в 2002 автор намеренно не «модернизировал» содержание. Причина не столько в желании сохранить колорит исторического документа, сколько в главной функции работы в рамках данной книги — продемонстрировать метод анализа научной ситуации. Поэтому приглашаю читателя мысленно перенестись в отошедшую страну — СССР и в прошедшее тысячелетие, и из точки 1990 г. взглянуть, как выглядела наша психология.

щей прикладной, практической психологии? В том-то и дело, что у нас была именно и только **прикладная, практическая психология** (то есть приложения психологии к различным социальным сферам, по имени этих сфер и получавшие свои названия — педагогическая, медицинская, спортивная, инженерная и т.д.), но не было **психологической практики** (то есть особой социальной сферы психологических услуг). Будь, например, здравоохранение таким, какой еще совсем недавно была психология, у нас было бы несколько медицинских академических институтов и факультетов, сотни медицинских кафедр в вузах, различные исследовательские отрасли — от молекулярной до космической медицины и на всю страну — ... ни поликлиники, ни больницы, а лишь десяток подпольно практикующих фельдшеров-самоучек.

Множащиеся сейчас психологические службы — это не просто *еще одна* ветвь практической психологии, наряду с названными. В них и через них отечественная психология наконец-то становится **самостоятельной практической дисциплиной**. Это историческое для судьбы нашей психологии событие. В 1920-х годах, когда психология впервые столкнулась с высокоорганизованной практикой — промышленной, воспитательной, политической, военной, — Л. С. Выготский увидел в этом факте источник такого значительного обновления психологической науки, что психолог, по его словам, мог бы сложить гимн новой практической психологии. Но если это было справедливо для практической психологии, то есть для включения психологии в существующие виды социальной практики, то это трижды справедливо для произошедшего на наших глазах рождения *собственно психологической практики*. Значение психологической практики для психологии трудно переоценить. Психологические службы не просто «важны» для психологии, она обретает в них свое *тело*, не больше и не меньше. Психологические службы для психологии — то же, что школа для педагогики, церковь для религии,

клиника для медицины. Психологическая практика — источник и венец психологии, альфа и омега, с нее должно начинаться и ею завершаться (хотя бы по тенденции, если не фактически) любое психологическое исследование.

В чем же отличие психологической практики от практической психологии? В том, прежде всего, что первая — «своя» для психологии практика, а вторая — «чужая», точнее — участие в «чужой» практике. Различие кардинальное. Цели деятельности психолога, подвизающегося в «чужой» социальной сфере, диктуются ценностями и задачами этой сферы. Это во-первых. Во-вторых, главное практическое воздействие на «объект» (будь то личность, семья, коллектив) оказывает не психолог, а врач, педагог или другой специалист. Если же психолог и вовлечен в непосредственную практическую работу, то лишь как вспомогательный персонал, как своего рода «орган» главного субъекта данной практики, и действует он, естественно, лишь постольку, поскольку ему определены задачи и делегированы полномочия, то есть действует не от лица психологии, а от лица медицины, педагогики и пр. В-третьих, критерии оценки результатов деятельности психолога определяются ценностями данной социальной сферы, а они могут порой входить в противоречие с ценностями, которым хотела бы служить психология. Понятно, что и ответственность за конечные результаты несет не психолог, а другой специалист. Одним словом, практический психолог обслуживает не нуждающегося в психологической помощи человека, а деятельность другого профессионала². При всей

² Речь, повторю, не о том, что психолог не помогает пациенту или ученику, не участвует в системе практических мероприятий. Например, в психиатрической больнице объем его работы с некоторыми пациентами может превышать объем работы врачей и других специалистов, но тем не менее общий план лечения, последнее слово в диагностике и оценке результатов терапии, словом, все стратегические пункты деятельности принадлежат врачу. Так и в любой другой области.

значимости практической психологии, нужно признать, что в ней психолог оказывается отчужденным от живой сердцевины практики, и это ведет к его отчуждению от собственно психологического мышления.

Не вспомнить ли здесь одну из главных аксиом марксизма: «Бытие определяет сознание»? Реальное бытие практического психолога в сфере той или другой практической деятельности определяет его профессиональное сознание, вынуждает мыслить так, как этого требуют задачи, цели и традиции этой сферы: образуется мощная тенденция к утрате специфики психологического мышления. Эта тенденция хоть и не всесильна, но неуклонна и неизбежна: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Например, патопсихолог лишается в области психиатрии одной из важнейших прерогатив полноценного научного исследования — самостоятельности в выделении из реальности предметов изучения. Он вынужден довольствоваться лишь психологическим исследованием и оправданием психиатрического расчленения реальности, которое диктуется медицинской практикой. Лишенный, таким образом, в психиатрии «эфферентного поля», он лишается и категориальной специфики своего восприятия.

С появлением самостоятельных психологических служб, собственно психологической практики принципиально меняется *социальная позиция психолога*. Он сам формирует цели и ценности своей профессиональной деятельности, сам осуществляет необходимые воздействия на обратившегося за помощью человека, сам несет ответственность за результаты своей работы. И это резко изменяет и его отношение к людям, которых он обслуживает, и его отношение к самому себе и участвующим в работе специалистам другого профиля, и, главное, сам стиль и тип его профессионального видения реальности.

Психологическая теория и практика

Формирующееся в связи с появлением психологической практики новое положение психологии в общественной жизни создает новую ситуацию внутри самой психологии. Главный параметр оценки этой ситуации — отношения между психологической наукой и практикой.

Пока психология не начала оформляться в отдельную социально-практическую сферу такого же типа, как педагогика или медицина, пока не имела внутри своего состава и собственную практику, и науку, а совпадала с одной лишь наукой, она знала только «чужую» практику, имела дело только с практикой, принадлежащей другим сферам.

Психологию и практику разделяла тогда граница, — причем позволяющая движение лишь в одну сторону — от психологии к практике. Отношения между ними определялись принципом *внедрения*. Для психологии это всегда были «внешнеполитические» отношения, ибо, даже включившись во внутреннюю жизнь той или другой практики, войдя в самые ее недра, психология не становилась сродственным ей ингредиентом, то есть не становилась практикой, а оставалась все-таки наукой. Так существует посольство в чужом государстве, сохраняющее всегда статус частички «своей» территории. Поэтому патопсихолог, специалист по педагогической или инженерной психологии, даже став совсем «своим» в больнице, школе и на заводе, все-таки неизбежно чувствовал себя «своим среди чужих». Самое непосредственное участие психолога и психологии в решении разных практических задач не меняло принципиально положения границы: практика всегда оставалась для психологии чем-то внешним, говоря словами Л. С. Выготского, «выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией занаучной, посленаучной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной» (*Выготский*, 1982, с 387).

В новой ситуации в связи с рождением собственно психологической практики привычный лозунг о внедрении

психологии в практику должен быть перевернут: наоборот, практику надо внедрять в психологию. Отношения между наукой и практикой должны стать для психологии «внутриполитическими», практика должна войти внутрь психологии, причем войти как главный философский принцип всей психологии. Камень, который отвергли строители, должен стать во главу угла. При всей важности для психологии участия в различных видах социальной практики, нужно отчетливо осознавать, что только **своя психологическая практика** может стать краеугольным камнем психологии. Это принципиальное уточнение мы должны сейчас сделать к прогнозу Л.С. Выготского, который рассчитывал, что столкновение с военной, промышленной, воспитательной практикой оздоровит нашу науку.

В гуще психологической практики впервые возникает настоящая жизненная, то есть вытекающая не из одной лишь любознательности, потребность в психологической теории. Впервые потому, что от «чужой» практики всегда исходил запрос не на теорию, а на конкретные рекомендации и оценки, ее представителями теория воспринимается как необязательная, досадная нагрузка к методам.

Психологической же практике теория нужна как воздух. Но обращаясь к существующим психологическим концепциям личности, деятельности, коллектива и т.д., психолог-практик не находит в них ответа на главные свои вопросы: «*Зачем*» — в чем смысл, предельные цели и ценности психологического консультирования, тренинга и пр.?; «*Что*» именно он может и должен делать, какова зона его профессиональной компетенции?; «*Как*» достигать нужных результатов?; «*Почему*» те или иные действия приводят именно к такому результату, каковы внутренние механизмы, срабатывающие при этом? Словом, психолог-практик ждет от теории не объяснения каких-то внешних для практики сущностей, а руководства к дей-

ствию и средств научного понимания своих действий. Но кроме того, и это самое важное, психологическая практика нуждается в такой теории, у которой можно не только что-то взять, но которой можно отдать. Практическая работа порождает живой богатейший материал, и, не имея подходящих теоретических средств для ассимиляции этого материала, психолог чувствует себя как сказочный герой, которому позволено унести столько золота, сколько он сможет, а у него нет под рукой даже захудалого мешка. Это последнее требование: возможность отдавать, вкладывать в теорию свой капитал радикально отличает «свою» психологическую практику от «чужих» в их отношении к психологической теории.

Вполне очевидно, что теория, созревшая в академической исследовательской плоскости, в отрыве от психологической практики, не способна удовлетворить эти требования.

Таким образом, психологическая практика не может продуктивно развиваться без теории, и в то же время она не может рассчитывать на академическую теорию. Ей нужна особая теория, назовем ее *психотехнической*.

Мы используем этот термин в том особом методологическом смысле, который ему придавал Л.С. Выготский (1982) и который закреплен и развит в книге А.А. Пузыря (1986). «Несмотря на то, что она не раз себя компрометировала, — писал Л.С. Выготский о современной ему психотехнике, — что ее *практическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна, ее методологическое значение огромно*. Принцип практики и философии — еще раз — тот камень, который презрели строители и который стал во главу угла» (Выготский, 1982, с. 388). Но что это за странный камень, спросим себя, претендующий быть краеугольным и в то же время не монолитный, состоящий из двух частей, философии и практики? И о какой философии идет речь?

Л.С. Выготский соглашается с Л. Бинсвангером, что решения главных вопросов психологии мы не можем ждать от логики, гносеологии или метафизики, то есть основных частей философии. Значит, не обычная философия имеется в виду, когда говорится о краеугольном камне. Какая же? «Философия практики», — формулирует Л.С. Выготский. А что такое «философия практики» применительно к психологии? Это «методология психотехники», — отвечает он. Итак, выстраивается синонимический ряд: *философия и практика = философия практики = методология психотехники = психотехника* («в одном слове») (там же, с. 388—389).

Зная мышление Л.С. Выготского, его метод выделения «единиц» анализа, можно не сомневаться, что «психотехника» для него как методологический принцип есть «единица», объединяющая в себя философию и практику. Поэтому «психотехника» и есть краеугольный камень новой психологии, содержащий практику в своем устройстве как «конструктивный принцип» (там же, с. 388) и в силу своего положения во главе угла требующий выравнивать, выверять по себе все стены и перекрытия возводимого здания, неизбежно воспроизводя в каждом пункте этого строительства принцип практики, философию практики как руководящую идею.

Соответственно, все здание, вся теория, основанная на таком камне, будет **психотехнической**.

Академическая и психотехническая теория

В чем конкретно состоят особенности психотехнической теории? Попытаемся ответить на этот вопрос, сопоставив по ряду параметров психотехническое познание с доминирующей пока в психологии естественнонаучной гносеологией. Мы называем последнюю «академической», потому что вся психология сводилась до недавнего времени к одной лишь психологической науке, та строилась

в основном по образцам естественных наук, как самых «научных», а «академизм» есть символ «высокой» научности.

Ценности. Ценностная ориентация академической психологии в лучших ее образцах соответствует канонам классической науки и вообще «классической рациональности» (Мамардашвили, 1984). «Объективная истина», не зависящая от чьей-либо субъективности и произвола, считается здесь не только высшей, но единственной ценностью. Психотехническая же система, включающая в себя реальную практику как свой живой орган, обязана сознательно выбрать свою ценностную позицию в контексте всех основных ценностей — истины, добра, красоты, святости, пользы и пр. Речь идет не только о человеческой позиции психолога и не о ценностной рефлексии уже сделанного, а о том, что ценностная установка должна быть имманентным началом теории, должна войти в ее ткань. Это положение — не нравственный императив, а необходимое условие получения *научного*, но, разумеется, не «естественнонаучного» знания о «психотехнической реальности»³.

Адресат. Подавляющее большинство научных психологических трудов у нас писалось еще недавно для академических психологов и использовалось ими для работы над своими собственными научными сочинениями. При этом в аннотациях книг указывалось, разумеется, что работа будет интересна (или полезна) также для философов, педагогов, социологов и т.д., но сама процедура извлечения пользы или нахождения этого интереса была делом читателя, совершенно внешним по отношению к авторскому замыслу психолога.

Адресатом же психотехнической теории является психолог-практик, а это — особый читатель. Если, по выра-

³ Такая особенность позволяет отнести психотехническое познание к «постнеклассическому» типу по классификации В.С. Степина(1976).

жению М.К. Мамардашвили, «Сезанн мыслит яблоками», то психолог-практик мыслит прецедентами, «клиническими случаями», практическим опытом. Поэтому создаваемая для него теория должна быть релевантна этому опыту. Психолог-практик — не просто внешний контролер адекватности, истинности и эффективности, он — неотъемлемый внутренний персонаж психотехнической теории. Эта теория от него, про него и для него.

Субъект познания. В соответствии с идеалами классического гносеологизма познание должно быть независимым от познающего субъекта, то есть от его отношения к объекту исследования, личной позиции, вкусов и предпочтений. Поэтому в реальной исследовательской практике психолог предпринимает попытку занять нейтральную, отстраненную позицию если не «абсолютного», то хотя бы «среднестатистического» наблюдателя.

В психотехнической же практике, напротив, психолог занимает заинтересованную, участную и личную позицию и осуществляет познание именно из такой позиции. Его профессиональное мастерство состоит не в том, чтобы, объективности ради, устранять или игнорировать личностный характер этой позиции, а в том, чтобы максимально объективно и честно ее осознавать именно как личную и выковывать ее грани в соответствии с избранными предельными ценностями. Кроме того, в психотехнической ситуации психолог является не единственным познающим — его клиенты (пациенты, участники групп) выступают как вполне равнозначные и незаменимые партнеры, так что самые творческие моменты продвижения к истине возникают, когда образуется диалогический «совокупный субъект» познания.

Контакт. В естественнонаучном психологическом исследовании контакт с испытуемым рассматривается как неизбежное зло, которое может исказить объективную картину. Исследователя интересует объект в том виде, как он

существует без и независимо от контакта. Соответственно, предпринимаются попытки минимизировать, стандартизировать контакт, сделать его эмоционально нейтральным. Контакт с испытуемым экспериментатор мечтал бы превратить в своего рода детектор или узкую смотровую щель, сквозь которую был бы виден только один, интересующий исследователя аспект.

В психотехнической практике, как правило, стремятся к интенсивному, уникальному и эмоциональному контакту. Разумеется, здесь есть свои тончайшие и строжайшие правила и ограничения. Но важно то, что если в естественнонаучном познании главное достоинство контакта — его узость и прозрачность, создающие ограниченную, но ясную и отчетливую область зрения, сама же эта смотровая щель не интересует исследователя, то в психотехническом знании нет стремления элиминировать сведения о контакте. Напротив, они являются самыми ценными и существенными. Если в естественнонаучной познавательной ситуации контакт связывает субъекта и объект узким «каналом», то в психотехнической — скорее объединяет их, образуя общее «поле», в которое включены участники.

Процесс и процедуры исследования. В исследованиях, отвечающих естественнонаучным идеалам, применяются «жесткие» и однонаправленные экспериментальные программы. Сама программа эксперимента может меняться только от опыта к опыту, но в ходе проведения опыта она не меняется в зависимости от складывающейся ситуации, поведения испытуемого и состояния экспериментатора. Обстоятельства могут, конечно, помешать выполнить программу, но тогда эксперимент считается сорванным, несмотря на то, что сам этот срыв порой может дать много ценной информации.

Духу психотехнического познания более отвечают процедуры, создающие человеку оптимальную ситуацию для самопознания и самораскрытия. Эти процедуры отличает

гибкость, незапрограммированность, стремление к уникальному реагированию на уникальную ситуацию. Эта гибкость лишена произвола и необязательности примерно в той же степени, как ход в шахматной партии и слово в поэтической строке. Другой особенностью познавательных процедур является их направленность не только на пациента (клиента, участника тренинговой группы), но и на самого психолога, на его отношения с пациентом, на сам психотехнический процесс.

Знания. Естественнаучные психологические знания о человеке являются достоянием исследователя и предназначены либо для научных нужд психолога, либо для практических нужд другого специалиста (врача, судьи, тренера), но не для самого исследуемого человека. По форме это знание не персонализированное, а общее и данное в третьем лице, знание о «них». Это знание неадекватно диалогу с конкретной личностью, его нельзя конвертировать в форму «Ты-сообщения» (*Gordon, 1970*): результаты исследования либо не сообщаются испытуемым, либо сообщаются в неполном и адаптированном виде.

В психотехническом процессе могут циркулировать знания самого разного типа, но знания, которые продвигают и углубляют этот процесс и которые, в то же время, являются симптомами такого продвижения и углубления, знания по своему характеру внутренние, личностные, диалогические, смысловые, знания не умом только, а всем человеческим существом. Предмет этого знания — Ты, Мы или Я, не обязательно Я САМ, но то, с чем я нахожусь в непосредственном живом контакте, с чем могу внутренне эмоционально отождествиться. Это знание не о чем-то внешнем, отсутствующем, отдаленном, знание не о «них», а о внутреннем, близком, что присутствует во мне или в чем присутствую Я, то есть знание «о тебе» или «о себе».

Предмет теории. В естественнаучной теории действительность берется, говоря словами марксовых тезисов,

«в форме объекта», а в психотехнической теории, напротив, — как «человеческая чувственная деятельность, практика», «субъективно», причем не со стороны — как *чья-то деятельность, практика*, а изнутри — как *моя практика*. Такое познание не смотрит на мир со стороны, из вне- и надмирной позиции, а изнутри практики смотрит на открываемый ею мир. Психотехническая теория — это не теория некоего «объекта» (психики, деятельности, мышления), а теория психологической работы-с-объектом. *Это теория практики*. Стилистическое подтверждение такой формулы содержится в названиях, данных, например, З. Фрейдом или П.Я. Гальпериным (1966) своим несомненно психотехническим по типу системам: не теория «бессознательного», а «психоанализ», не «теория умственной деятельности» или «развития мышления», а теория «поэтапного формирования умственных действий». В обоих случаях — не теория внешнего «объекта», а теория *практической деятельности самого психолога* (анализа, формирования).

Соотношение предмета и метода. Роль метода в естественнонаучном познании состоит в том, чтобы превратить эмпирический объект изучения в предмет исследования. Так, при изучении условных рефлексов у собак в школе И.П. Павлова животное ставилось в такие условия (ограничение стимуляции, движений и др.), чтобы все его поведение фактически сводилось к условно-рефлекторному реагированию. Создав такого рода искусственный препарат, метод как бы отходит в тень, предлагая рассматривать этот сфабрикованный предмет как *натуральный объект*⁴.

В психотехническом познании происходит парадоксальный для классической науки методологический переворот: метод здесь объединяет участников взаимодействия (субъекта и объект познания — в неадекватной старой терминологии), как бы вбирает их в себя и превращается

⁴ Подробнее см. главу 2.2.

в своего рода «монаду», которая и становится предметом познания. Но, как известно, «монада не имеет окон» (Лейбниц), она познается изнутри,

Например, *психотехническая* постановка проблемы переживания горя состоит в исследовании «утешения горящего», *психотехническая* постановка проблемы бессознательного — в исследовании «толкования бессознательного». И сколь бы изощренной ни была рефлексия таких исследований, сколь бы сами они ни были вторично объективно-научными, первично они исходят из утешения и толкования, и только здесь, внутри тела этих моих психотехнических действий, я профессионально и «научно» встречаюсь с горем и бессознательным, с собой — психологом, с тобой — моим собеседником и пациентом. Причем встречаюсь с ними (нет, с *нами*) как со взаимодополнительными и необходимыми моментами некоего единства, а не как отдельными и самодостаточными «объектами». Разумеется, в ходе внутреннего развития и дифференциации такого познания не избежать объективации и появления квазинатуралистических знаний о горе и бессознательном, но это, так сказать, «вторично-натуралистические» знания, выросшие на психотехнической закваске.

Что до методологического статуса таких знаний, то в отличие от самых развитых, «неклассических» естественнонаучных исследований, доросших до того, чтобы знания о методе включать в знание об исследуемом объекте, здесь, в психотехническом познании, наоборот, знания об «объекте» (горе, бессознательном) включаются как аспект в искомое знание о методе.

Итак, если *общим предметом классической академической теории* является фрагмент, выделенный методом из объекта исследования, ограниченный и ограниченный этим методом, то *общим предметом психотехнической теории* является сам метод, ограняющий и созидаящий пространство психотехнической работы-с-объектом.

Всякая научная теория в своем общем предмете выделяет *центральный предмет* исследования, на котором сосредоточивает свое внимание, полагая, что познание законов этого центрального предмета является ключом к познанию всего общего предмета (в теории ВНД И.П. Павлова познание законов условного рефлекса — ключ к познанию всей высшей нервной деятельности). Отличие психотехнической от академической теории состоит в этом пункте в том, что если академическая теория подбирает метод, адекватный изучению центрального предмета, то психотехническая теория должна, наоборот, по работающему, эффективному психотехническому методу (нащупанному в живом опыте) восстановить такой *центральный предмет*, для которого этот практический метод является одновременно оптимальным и специфическим методом познания.

Так, например, кандидатом на центральный предмет психотехнической теории индивидуальной психологической помощи мог бы быть условный рефлекс на том основании, что механизмы обусловливания вполне способны объяснить эффективность методов бихевиоральной терапии. Однако если мы спросим, способны ли, наоборот, эти методы дать новое знание о рефлексе, является ли, скажем, метод систематической десенситизации (*Wolpe*, 1958) подходящим для изучения классического условного и оперантного рефлексов, то придется признать, что этот метод познавательно бесплоден и не идет ни в какое сравнение с павловским привязным станком или «скиннеровским ящиком».

Если бы станок и ящик, будучи оптимальными устройствами для исследования обусловливания, создавали еще и оптимальную ситуацию для эффективной психологической помощи (предположим на минуту, что критерии такой эффективности однозначны и общепризнанны), то бихевиоризм был бы *психотехнической системой*, а понятие условного рефлекса выражало бы

центральный предмет этой системы. Либо наоборот, если бы методы *бихевиоральной терапии* были бы не только практически эффективны, но и оптимальны для исследований закономерностей обусловливания, то сама бихевиоральная терапия была бы не просто прикладным бихевиоризмом, лишь изощренно эксплуатирующим научные идеи материнской теории, а была бы *психотехнической системой*, наращивающей исходный научный капитал. И в этом случае условный рефлекс стал бы центральным предметом подобной системы.

Эти рассуждения приложимы и к любому другому понятию, претендующему на роль центрального предмета психотехнической системы. Возьмем для примера понятие гештальта. С одной стороны, гештальтпсихология — чрезвычайно плодотворное научное направление, с другой, гештальттерапия — одна из самых развитых и продуктивных школ современной психотерапии. В категории гештальта сконцентрирована блестящая научная традиция, целая развивающаяся система понятий, концепций и экспериментов, за ней встают такие масштабные имена, как М. Вертхаймер, К. Кофка, В. Келер. И эта же категория «гештальта» стала основой разветвленной системы методов гештальттерапии, созданных психотерапевтической звездой первой величины, каким считается Ф. Перлз. Казалось бы, о чем еще мечтать?! И все же для психотехнической системы этого мало. Дело в том, что категория гештальта не стала таким каналом, через который накапливаемые гештальтпсихологические знания превращались бы в карты гештальттерапевтической практики, а богатейший опыт гештальттерапии вливался бы в гештальтпсихологию и служил ее развитию, чтобы затем в этом развитии создавались бы понятия и формы, вновь передаваемые в гештальттерапию и превращающиеся там в психотерапевтические методы. Категория гештальта не превратилась в дорогу с двухсторонним движением. Именно поэтому гештальтпсихология и гештальттерапия не

образовали психотехнической системы, а понятие гештальта не стало центральной категорией такой системы.

Итак, какое бы понятие мы ни пытались положить в основу психотехнической системы, сделав ее центральным предметом рефлекс или гештальт, самосознание или диалог, характер или переживание, — можно рассчитывать на научную и практическую полноценность такой системы только в том случае, если это понятие сможет исполнить роль центральной категории. Центральная же категория психотехнической системы должна удовлетворять следующим критериям.

а) Она должна концентрировать в себе идейную энергию и потенциал какой-то серьезной *научной психологической традиции*, а не быть выдуманна на потребу сиюминутной практической выгоде или взята напрокат из внепсихологической сферы⁵.

б) Центральная категория должна служить идейной основой эффективных практических методов, то есть, с одной стороны, быть их *конструктивным принципом*, позволяющим создавать такие методы и методики, а с другой — их *объяснительным принципом*, позволяющим научно объяснять механизм действия как собственных, так и заимствованных методов.

в) И, наконец, самое главное: центральная категория должна быть такой, чтобы на ее основе можно было сформировать особый *психотехнический метод*, который наряду с практической эффективностью является оптимальным эмпирическим *исследовательским* методом для предмета, выражаемого этой центральной категорией. Не простая сумма, а органический синтез практической эффективности и познавательной продуктивности — вот норма психотехнического метода.

⁵ Такого рода «безродные» понятия, «понятия-дворянжки» часто встречаются в нейролингвистическом программировании. Например, понятие «якоря», плод незаконного соединения понятий «условного рефлекса» и «ассоциации по смежности».

Для разрабатываемой автором этих строк психотехнической системы «понимающей психотерапии» такой центральной категорией выступает понятие переживания, рассматриваемого как особая деятельность человека по преодолению критических жизненных ситуаций. Примером этого понятия легко проиллюстрировать последнее из названных методологических требований. Научные психологические представления о переживании дают возможность формирования тонко дифференцированных и эффективных методов психотерапии (см., например, *Джендлин*, 2000). Но если бы, предположим, нас совершенно не интересовали практические вопросы эффективности психологической помощи, а перед нами стояла бы лишь чисто научная задача эмпирического исследования переживания, то трудно было бы создать лучшую «экспериментальную ситуацию», чем ситуация индивидуальной психотерапии. В самом деле, во-первых, для исследования переживания нужны испытуемые, которые находятся в критической жизненной ситуации, но не станешь же ради науки искусственно ставить человека в безвыходное положение, а клиенты психологической консультации как раз потому и оказываются на приеме у психотерапевта, что попали в критическую ситуацию. Во-вторых, в процессе психотерапии эти «испытуемые» не просто *рассказывают* о своем переживании, а *осуществляют* работу переживания. Словом, если бы вообще не существовало индивидуальной психотерапии, то для изучения проблемы переживания ее нужно было бы изобрести как оптимальный исследовательский метод. Таким образом, индивидуальная психотерапия способна обогащать научные представления о переживании, но и обратно — научные представления о переживании органично порождают эффективные методы психотерапевтической работы (см. *Василюк*, 1988).

Сведем в таблицу результаты сопоставления академической и психотехнической теорий (см. табл. 1).

Таблица 1

**Результаты сопоставительного анализа
естественнонаучного и психотехнического познания**

Аспект познания	Естественнонаучное познание	Психотехническое познание
Философия	Гносеологизм	Философия практики
Ценности	Внешние по отношению к познанию	Имманентны процессу познания
Адресат	Академический психолог или специалист другой профессии	Психолог-практик
Субъект познания	Нейтральный, отстраненный наблюдатель	Заинтересованный, участный, совокупный субъект
Контакт	Минимизированный, стандартизированный, эмоционально нейтральный. Связывает субъект и объект	Интенсивный, уникальный, эмоциональный Объединяет, включает в себя субъектов психотехнической ситуации
Процесс и процедуры исследования	Жесткие, неизменные в пределах данного опыта программы процедур	Гибкие, уникальные процедуры, тонко реагирующие на текущую ситуацию опыта
Знания	Знание неперсонализированное, в третьем лице, о «них». Знание, слово испытуемого о себе лишь один из фактов для научного анализа	Знание внутреннее, личностное, смысловое. Знание «о тебе», «о себе», «о нас», в то же время знание «твое», «мое», «наше»
Предмет и метод	Метод выделяет предмет из реальности и представляет его в «форме объекта», наблюдаемого извне	Метод объединяет участников психотехнической ситуации, и сам становится предметом исследования
Центральный предмет	К центральному предмету подбирается адекватный метод исследования	К эффективному практическому методу подбирается центральный предмет, для которого этот же метод является оптимальным методом исследования

Подведем итоги. Тот, кого всерьез волнует судьба нашей психологии, должен осознавать вполне реальную опасность вырождения ее в третьеразрядную дряхлую и бесплодную науку, по инерции тлеющую за академическими стенами и бессильно наблюдающую сквозь бойницы за бурным и бесцеремонным ростом примитивной, а то и откровенно бесовской, массовой поп-психологии, профанирующей как те достойные направления зарубежной психологии, которые ими слепо копируются, так и психологию вообще, игнорирующей культурные и духовные особенности среды распространения. Это не какая-то отдаленная опасность. Гром уже грянул. Единственный шанс для нашей научной психологии, шанс не просто отсидеться еще какое-то время на теплой академической печи⁶, а сделаться подлинной, сильной, полноценной наукой, состоит в том, чтобы радикально измениться. Это не внешнее вынужденное изменение, оно заложено в генотипе отечественной психологии. Ей, по сути, нужно всего-то стать самой собой, не зарыть свой, именно свой, талант в землю, а пустить его в оборот, реализовать уже заложенные в ней потенции, из психологии деятельности превратиться в деятельную и жизненную психологию. Пришло время услышать и исполнить все еще звучащие для нас слова Л.С. Выготского о психотехнике, значимость которых он не зря подчеркнул евангельской метафорой о краеугольном камне — это есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в чем ином спасения.

⁶ «Заметно, впрочем, остывшей за два года, прошедшие с тех пор, как писались эти строки» — Это замечание 1992 г., но и к 2002-му, увы, печь эта остается холодной. Отличие в том, что теперь это воспринимается почти как норма.

3.3. Методологический смысл психологического схизиса

Карта отечественной психологии за последние 10 лет⁷ изменилась, пожалуй, более радикально, чем карта Восточной Европы. Тогда, в 1985 г. над пустынными психологическими пространствами возвышались несколько академических крепостей (это были главным образом столичные психологические институты и факультеты психологии), кое-где виднелись ведомственные бастионы (психологические лаборатории в «ящиках», МВД, больницах, педагогических структурах и самый многочисленный их вид — кафедры психологии провинциальных педвузов), большей частью находившиеся в вассальном теоретическом положении у одной из крепостей, а ручейки вольной психологической практики с высоты птичьего полета почти не были видны.

Бурное пятилетие (с 1986 по 1991 гг.) подняло волну энтузиазма психологов-практиков. Волна окатила крепостные стены, кое-где перехлестнула через них и отхлынула, разлившись по обширным неакадемическим просторам. Она стала заполнять все ложбины и низменности — всюду появились психологические центры, службы, ТОО, ООО, да и просто лихие молодые люди с очень ограниченной ответственностью, но с безграничной готовностью на любую психологическую услугу от подготовки кандидата в президенты страны до снятия порчи.

Недавняя пустыня между академическими крепостями и ведомственными бастионами превратилась в неспокойное море психологической практики. Есть в нем уже и глубокие чистые течения, хотя, разумеется, преобладают пока мутноватые воды самоуверенного дилетантизма.

⁷ Данная работа была впервые опубликована в 1996 г. в знаменательном номере журнала «Вопросы психологии», посвященном столетию Л.С. Выготского.

Но нравятся нам последствия наводнения или нет, факт остается фактом: все это вместе и есть «отечественная психология», хотя ее рельеф и климат, флора и фауна неузнаваемо изменились. Раньше судьба нашей психологии ковалась за академическими стенами, отныне она определяется тем, как будут складываться отношения между образовавшимся «морем» и «сушей», между «психологической практикой» и «научной психологией».

В упомянутое выше пятилетие «энтузиазма», когда большинство психологов-практиков составляли специалисты с университетским академическим образованием, казалось иногда, что продуктивное соединение практики и науки произойдет само собою. Казалось, что началась уже новая историческая эпоха, что позади остались старые естественнонаучные идеалы, высокомерное отношение к практике как косной сфере, куда «внедряются» научные достижения, что сбывается пророчество Л.С. Выготского: «Практика входит в глубочайшие основы научной операции <...>, становится конструктивным принципом науки» (Выготский, 1982, с. 387—388). Думалось, что страстный философский призыв Л.С. Выготского наконец услышан, психология вобрала в свой состав практику и стала изнутри преобразаться.

Но, увы, как и в жизни, в науке ничто не совершается автоматически. Когда начался отлив, обнаружилось, что перехлестнувшая волна оставила после себя несколько психотехнически ориентированных лабораторий, но никакого внутреннего оплодотворения психологической науки «философией практики» не произошло. Напротив, отлив продолжался, разрыв между психологической практикой и наукой стал увеличиваться и достиг угрожающих размеров. Самое тревожное, что это расщепление, проходящее по телу психологии, никого особенно не волнует — ни практиков, ни исследователей. Если бы ситуация определялась острым противоборством, столкновением сторон, попыткой сломить сопротивление и

перекроить всю психологию по-своему — это было бы драматично и... плодотворно. Тогда можно было бы говорить об очередном кризисе психологии. К сожалению, приходится диагностировать не кризис, но **схизис** нашей психологии, ее расщепление. Психологическая практика и психологическая наука живут параллельной жизнью как две субличности расщепленной личности: у них нет взаимного интереса друг к другу, разные авторитеты (уверен, что больше половины психологов-практиков затруднились бы назвать фамилии директоров академических институтов, а директора, в свою очередь, вряд ли информированы о «звездах» психологической практики), разные системы образования и экономического существования в социуме, непересекающиеся круги общения с западными коллегами. Есть и другие симптомы схизиса, но наиболее опасное, что консервирует всю ситуацию и в первую очередь нуждается в исправлении, состоит в том, что ни исследователи, ни сами практики не видят *научного, теоретического, методологического значения практики*. А между тем для психологии сейчас нет ничего теоретичнее хорошей практики.

Ниже мы надеемся показать, что наиболее актуальными и целительными для нашей психологии являются психотехнические исследования, что их значение вовсе не сводится к разработке эффективных методов и приемов влияния на человеческое сознание, но состоит, прежде всего, в выработке *общепсихологической методологии*. Методологическая миссия психотехники определяется не только внешними факторами — массовым распространением психологических практик, порождающим соответствующий социальный заказ, но и *внутренними тенденциями самой психологической науки*. Последнее кажется особенно важным — убедиться, что психотехника есть не просто частная прикладная дисциплина, но — общепсихологическая методология, причем методология, не навязанная извне обстоятельствами, а присущая отечественной психологии

как своего рода «генетическая программа». Наступило время, когда эта программа начала реализовываться. Попытаться расшифровать ее генетический код, проследить пути ее развертывания — вот задача данной работы.

* * *

Начнем с очевидной ценности психологической науки, лучше сказать, с ее заветной мечты о целостном уникальном человеке. Как бы аналитичны ни были те или другие психологические направления, как бы ни членили они человека и его жизнь на функции, состояния, процессы, их никогда не покидала мечта о синтезе, о том, что рано или поздно найдется сказочная мертвая вода, которая соединит части разъятого человека в цельное существо, и вода живая, которая это существо оживит. Но то, что является романтической мечтой традиционного психолога-исследователя (о которой он, разумеется, мгновенно забывает, когда дело доходит до дела и ему нужно действовать по неумолимой логике науки), недостижимым венцом всегда будущих научных синтезов, то для психолога-практика является вполне приземленной ежедневной реальностью, с которой ему с начала и до конца своей работы только и приходится иметь дело, борясь лишь со своими собственными аналитическими или редукционистскими привычками.

Однако эмпирически, опытно известное — отнюдь не то же самое, что научно знаемое. Для того чтобы научиться не только *действовать* с целостным человеком, но и *мыслить* действительность человеческой целостности, необходимо, прежде всего, задаться вопросом: чем она конституируется?

Строго говоря, культом (см. *Флоренский*, 1977). Только он обнимает человека во всей полноте его телесной, душевной и духовной жизни. Только в нем есть возмож-

ность сойтись и объединиться всему: бытовым житейским мелочам с высшим смыслом жизни, древнейшей традиции со злободневной современностью, глобальным историческим процессам с уникальной человеческой судьбой и главное — Богу и человеку. Но поскольку наша научная психология не готова еще, кажется, к продуктивной встрече с полнотой и антиномичностью христианской антропологии, то, оставив до поры лучший ответ, вопрос нужно поставить заново: где, в каких контекстах мы находим человека в полноте и конкретности его бытия? В каких контекстах не расплескивается сущность человека или хотя бы сохраняется его узнаваемость, так что, вглядываясь в полученные в этих контекстах описания, можно безошибочно определить — да, да, речь идет о человеке, а не о механизме, организме или социальном атоме?

Человеческая целостность сохраняется, прежде всего, в контексте *сознания*, имея в виду и феноменологический горизонт жизненного мира человека, и все эстетические, этические и психологические формы его выражения и понимания.

Далее, она сохраняется в ориентированных на человека социальных *практиках* — в обучении, воспитании, лечении и пр.

Наконец, как смысловая сущность человеческая целостность может удерживаться в разного рода символических полях *культуры*, в поэтической строке, живописном образе и пр.

Эти контексты взаимоотражаются друг в друге, пронизывают друг друга и существуют как узлы в одной связке. ***Сознание—практика—культура*** — такова тройная формула контекста, задающего действительность человеческой целостности.

Но мало определить категориальные условия, обеспечивающие нередуцируемость человеческой целостности,

необходимо еще ответить на вопрос, как эту целостность исследовать, коль скоро мы не оставляем задач науки внутри психотерапевтической и консультативной деятельности, не отказываемся и здесь искать истину, а не одну только пользу.

Практика как принцип познания

В современной методологии познания стало уже общим местом утверждение о нереализуемости классических научных канонов при изучении человека (не говоря уже об их относительной применимости даже в естествознании). Парадигма классической науки при изучении человека дает трещину в решающем пункте, гласящем: объект независим от познания. В тех дисциплинах, которые изучают конкретных людей, особенно очевидно, что названная аксиома не оправдывает себя. Во-первых, само знание о человеке реально изменяет его. Самый явный пример тому — психоанализ, антропологические концепты которого стали символическими орудиями, изменяющими сознание человека как в каждом конкретном клиническом случае, так и в смысле того культурного человеческого типа, который сформировался на Западе: психоаналитическое искусство, менеджмент, лечение, воспитание и пр. — все это сегодня неотъемлемые элементы реальной жизни обычного западного человека. Во-вторых, формы и методы познания влияют не только на характер получаемого знания (не безразлично, будет ли это знание об условных рефлексах или о жизненном стиле), но и на самого исследуемого человека⁸. В-

⁸ Во всяком исследовании есть обучающий и мотивирующий компонент. Простой мысленный эксперимент: двух космонавтов на протяжении нескольких лет исследуют по разным программам — у одного систематически проверяют объем памяти, у другого — способность к решению творческих задач. Легко вообразить последствия таких экспериментов для

третьих,

развития соответствующих способностей. Даже в «чистой» экспериментальной психологии объект исследования зависит от факта и содержания исследования, а уж психотерапевтическая практика показывает, что даже тон и стиль задаваемого человеку вопроса изменяют характер включющихся для поиска ответа механизмов сознания.

сам процесс познания человека, само пребывание его в положении изучаемого объекта вовсе не безразличны для него: и потому, что «быть исследуемым» — лишь один из многих модусов социального существования человека со своими культурными нормами, ритуалами, ожиданиями, вовсе не совпадающий с другими модусами («я» как *испытываемый* вовсе не равен «себе» *играющему, работающему, любящему* и т.п.).

В этих констатациях для нашей психологии давно нет никакой гносеологической новизны. Повторять их приходится не потому, что они не известны, а потому, что из них вытекает *методологическое задание*, которое отечественная психология должна была выполнить, но так еще до конца и не выполнила. Суть этого задания в том, что психология деятельности должна стать деятельной психологией (А.Н. Леонтьев), или «психотехнической» (Л.С. Выготский). Казалось бы, еще в знаменитых «Тезисах о Фейербахе» К. Маркса, столь часто цитировавшихся в нашей психологической литературе, это методологическое задание было сформулировано ясно и четко. В одном из тезисов речь шла о том, что философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его. В другом — о том, что изучаемую действительность следует брать не в *форме объекта* и не в *форме созерцания*, а как человеческую чувственную деятельность, как *практику*, «субъективно».

Сами по себе эти идеи Маркса, разумеется, не раз оценивались советскими философами как гениальный вклад в гносеологическую теорию, состоящий во введении в нее категории практики. Мысль о том, что в основании науч-

ной деятельности должна лежать человеческая практика, систематически воспроизводилась. Вот, например, в каком виде ее формулирует В.С. Степин: «Как в любой познавательной деятельности, здесь (в эмпирическом слое науки. — *Ф.В.*) проявляется фундаментальный принцип теории отражения, согласно которому объект познания определен лишь относительно некоторой системы практики. Познающему субъекту предмет исследования всегда дан не в форме созерцания, а в форме практики... Поэтому во всех слоях научного знания содержится схематизированное и идеализированное изображение существенных черт практики, которое вместе с тем (а вернее, в силу этого) служит изображением исследуемой действительности» (Степин, 1976, с. 88).

Но одно дело признание идеи, и совсем другое — ее реализация. Не берусь судить о жизни марксовской идеи в современной российской философии, но в нашей психологии (теперь стыдливо вытесняющей все связи, ведущие к подозрению в марксизме) она чаще всего истолковывалась таким образом: исходный предмет психологического исследования — человеческая практика, деятельность. Но означает ли это, что действительность берется не в форме объекта и не в форме созерцания, а как человеческая чувственная деятельность, как практика, берется «субъективно», по словам Маркса? Нет. Центральный, решающий пункт состоит не в том, чтобы из всех возможных объектов познания *выбрать для исследования* деятельность, и не в том, чтобы всякую исследуемую действительность *рассматривать* как деятельность, а в том, *в какой позиции находится сам исследователь по отношению к этой действительности*. Одно дело, если он сохраняет позицию Абсолютного Наблюдателя, созерцающего особый объект — деятельность, и тогда он и саму деятельность берет «либо в форме объекта, либо в форме созерцания», берет «объективно». Совсем другое — если он занимает *участную позицию* в бытии, становится в

практическое жизненное отношение к познаваемой действительности и именно свою человеческую чувственную деятельность, свою практику (а раз «свою», то, естественно, действительность берется «субъективно») делает исходным пунктом познания.

Эти две методологические схемы резко отличаются друг от друга. В первой исследователь полагает себя вне и над бытием, бытие мыслит независимым от своих исследовательских процедур, сами эти процедуры представляет как бесплотные лучи, лишь дающие информацию об объекте, но не затрагивающие его, а получаемое в результате знание — как не имеющее обратного влияния на объект. Зрительное восприятие предметов — вот метафора этой схемы. Назовем ее условно *«философией гносеологизма»*.

В пределах второй схемы исследователь должен не просто дать себе отчет в том, что он как человек находится в гуще бытия и потому неизбежно зависим в своем познании от своей связанности с бытием и погруженности в него; ведь, достигнув такого осознания, можно, тем не менее, избрать первую методологическую схему и пытаться, насколько это возможно, приблизиться к «идеальной» познавательной позиции, изыскивая методические средства, чтобы отряхнуть бытие с процесса познания. Реализуя вторую схему, нужно пойти на риск полагания себя именно как исследователя внутри изучаемой действительности, войти в поля чувственно-практической деятельности, которые не то чтобы связывают его отдельного с отдельной действительностью, а собственно, и являются первоначальной и единственной действительностью, в которой затем уже проступают объективный и субъективный полюса. Осознавать это *чувственно-практическое* поле как изначальный и определяющий факт познания и означает придерживаться второй схемы, которую можно назвать *«философией практики»*. Если образ первой схемы — зрительное восприятие, то образ второй — тактильно-кинестетическое. Здесь стоит вспомнить, что генетически рука учит глаз, а не наоборот, и в функцио-

нальном плане глаз — вовсе не пассивный приемник идущих от объекта световых «снарядов», он, активно «ощупывая» объект, лепит его образ (см. *Зинченко, 1997*).

Итак, философия практики — это вовсе не философское познание практики, это и не познание, ориентированное прагматически на то, чтобы служить исключительно практическим целям; философия практики не является вообще методологией одного лишь познания, так, чтобы научная истина мыслилась как высшая ценность. Но поскольку познание осуществляется в недрах философии практики, оно должно непрерывно удерживать в своих процедурах факт собственной жизненно-практической укорененности в познаваемом бытии. Познание, реализующее философию практики, не смотрит на практику извне, а изнутри практики смотрит на открываемый ею мир.

Каким образом можно эти общефилософские положения превратить в конкретную методологию психологии?

Философия практики как методология психологии

Л.С. Выготский, анализируя кризис в психологии, пришел к выводу, что его глубинной причиной была оторванность психологии от практики. Связи, сложившиеся между теоретической и прикладной психологией, напоминали, по словам Л.С. Выготского, взаимоотношения между метрополией и колонией — «теория от практики не зависела нисколько» (*Выготский, 1982, с. 387*). Выход психологии из кризиса Л.С. Выготский связывал с тем, чтобы практические дисциплины заняли принципиально иное положение во всем строе науки. Какое же? Эпиграф, многократно повторяемый в труде Л.С. Выготского, Прямо указывает на это положение: «Камень, который презрели строители, стал во главу угла». Практика должна стать именно краеугольным камнем новой науки, то есть таким, на который опирается все возводимое зда-

ние, по которому выверяются все его стены. В новой психологии «практика входит в глубочайшие основы научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным судьей теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы» (Выготский, 1982, с. 387—388).

Л.С. Выготский надеялся, что столкновение психологии с высокоорганизованной практикой приведет к тому, что промышленность и армия, политика и образование реформируют нашу науку.

Надеждам Л.С. Выготского, однако, не суждено было сбыться. Практика не реформировала психологию. Почему? Во-первых, конечно, из-за тех гонений, которым подверглись именно практически ориентированные психологические дисциплины — педология и психотехника. Во-вторых, из-за уродливых форм самой социальной практики, насквозь идеологизированной, ориентированной не на эффективность, а на фиктивные плановые показатели и потому не нуждающейся по-настоящему не только в действенной психологии, но вообще ни в какой психологии.

Однако непосредственной причиной задержки методологического развития нашей психологии явилось то, что она, взаимодействуя все же (особенно в шестидесятые годы) с различными видами социальной практики — медициной, промышленностью, педагогикой, участвовала только в этой «чужой» практике, не имела *своей психологической практики, не была самостоятельной практической дисциплиной*.

Только в последние десять-пятнадцать лет ситуация стала меняться. А еще так недавно, в семидесятые годы, по организационной структуре наша психология являла собой более чем странную картину. Чтобы в полной мере ощутить эту странность, мы в предыдущей главе уже сопоставляли организационные модели отечественной психологии и медицины: если бы здравоохранение была устроено так же, как тогдашняя психология, то в ней были бы факультеты,

институты и лаборатории, но не было бы больниц и поликлиник. Теперь у психологии появились свои «поликлиники», возникла собственно психологическая практика. Буквально за несколько лет психологов-практиков стало на порядок больше, чем психологов-исследователей и преподавателей. Учитывая опыт развитых стран, страстное стремление студентов факультетов психологии к обучению практической психологической работе, огромный наплыв психотерапевтических «прозелитов», обращенных из врачей, педагогов, военных и других специалистов, можно с уверенностью утверждать, что пропорция «практики/исследователи» будет неуклонно расти.

Появление психолога-практика как массовой профессии (массовой хотя бы пока по масштабам цеха профессиональных психологов) создает радикально новую ситуацию для всей нашей психологии. Возникает потребность в новых теоретических подходах, новых формах обучения и новых типах психологических организаций.

Для психологов-исследователей наступили необычные времена: если раньше продукт их работы использовался либо коллегами-учеными для полемики или цитирования в собственных научных же трудах, либо лекторами для «просвещения населения», либо практиками других профессий — военными, инженерами, врачами, то теперь главным пользователем становится психолог-практик. А это очень требовательный пользователь и очень критичный читатель научных психологических сочинений. Он смотрит на исследовательский труд из гуши реального опыта практической психологической работы. Это вовсе не взгляд прагматика, озабоченного только «ноу-хау», он ждет настоящего научного слова, истины, логоса, ждет тем более горячо, что он эту истину уже опытно ощутил и способен «узнать» ее, как узнает душа в подлинно поэтическом слове свое же однажды испытанное, но не до конца понятое чувство.

Чтобы отвечать этим ожиданиям, исследовательская, теоретическая психология должна реализовывать такой

методологический подход, который позволил бы научно изучать не психику испытуемых, а *опыт работы с психикой*, прежде всего опыт профессиональной психологической работы, позволил бы черпать темы из этого опыта, создавать понятия и модели, описывающие и объясняющие опыт, формулировать результаты в виде, конвертируемом в опыт. Для того чтобы продуктивно развиваться, психологическая теория должна включиться в контекст психологической практики и сама включить эту практику в свой контекст. Двумя словами: психологическая теория должна реализовать *психотехнический подход*.

Но одно дело — «должна» и совсем другое — «может ли?», да и «хочет ли?», то есть соответствует ли это ее собственным внутренним тенденциям? И может, и хочет.

В отечественной психологии мы находим прекрасный образец реализованного психотехнического подхода. Это теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Без специального методологического анализа, уже чисто стилистически очевидна психотехническая суть этой теории: не теория *мышления*, не теория *умственных действий*, но именно теория *формирования*, то есть теория *работы с психикой*, а не самой психики. Нетрудно заметить, как переворачивается здесь классическая схема соотношения теории и практики: не от познания объекта к внедрению этих знаний в практику, а от опыта работы с объектом (формирования) к его познанию. Здесь в буквальном смысле исполняется надежда Л.С. Выготского на то, что практика войдет в основу научной операции.

Примера теории поэтапного формирования умственных действий достаточно для того, чтобы утверждать возможность реализации психотехнического подхода вообще. Но, повторяем, мало «быть должным», мало «мочь», нужно еще и «хотеть». «Хочет» ли отечественная психология стать психотехнической? Не под воздействием ли одной лишь моды на психологическую практику начинает она преобразовывать свои теоретические основания? Ведут ли ее к

этому ее собственные, «генетически» заложенные в нее влечения, узнает ли она себя, став психотехнической?

Если проследить важнейшую линию развития отечественной психологии, линию «Выготский—Леонтьев», то психотехническая закваска обнаруживается в ней в явном виде уже с самого начала. Идеи Л.С. Выготского об интериоризации как возникновении психических образований в ходе процесса «сворачивания» межличностного взаимодействия, о высших психических функциях, воплощение этих идей в экспериментах А.Н. Леонтьева (1928, 1931) по изучению опосредованной памяти — все это уже опыт реализации психотехнической методологии в психологическом исследовании. Ведь что собственно изучается в знаменитом эксперименте А.Н. Леонтьева? Вовсе не память, взятая как присущая индивиду по природе психическая функция, которая рассматривалась бы в качестве натурального объекта, свойства которого не зависят от его исследования. Изучается некое искусственное новообразование сознания, сформированное вместе экспериментатором и испытуемым с помощью предложенных средств (картинок) и в мотивирующем контексте социальной ситуации проверки памяти. Значит, изучается не память вообще, а, по сути, социальная мнемотехника, совместная деятельность двух людей — экспериментатора и испытуемого, свернутая в способности одного из них (испытуемого) воспроизвести ряд слов в данной специальной ситуации⁹.

⁹ Осознанно психотехническая постановка этих экспериментов может быть, например, такой: экспериментатор проводит ряд серий с каждым испытуемым, подбирая способы взаимодействия (мотивация, средства и пр.), приводящие к максимальному (или другому наперед заданному) результату. Вообще, большинство классических психологических экспериментов может быть перепланировано психотехнически.

Итак, идея философии практики в приложении к психологической науке предстает как психотехническая методология. Психотехника — это философия практики для психологии. Отечественная психологическая традиция в лице культурно-исторической школы Выготского является психотехнической по своему изначальному замыслу, по своему методологическому «генотипу».

Психотехника

Сейчас понятие «психотехника» употребляется в самых разных смыслах: и как набор приемов психического воздействия на человека, и как совокупность методов саморегуляции, и как новейшая методология психологии, предполагающая новый тип рациональности (*Пузырей, 1986*), и как культура психической деятельности в той или иной философско-религиозной традиции, а иногда, кивая на психотехнику 1920—1930-х годов, это понятие осмысливают как «психология — технике», то есть как психофизиологическое исследование человека как субъекта труда с целью научной организации профотбора, профориентации, вообще рационализации труда.

Для наших рассуждений важно вернуться к истокам понятия и вспомнить, что называл психотехникой изобретатель термина Гуго Мюнстерберг, тем более что именно на его работы ссылался Л.С. Выготский, когда писал о том, что в психотехнике кроется зерно новой психологии. В предисловии к русскому переводу книги Г. Мюнстерберга «Основы психотехники» (1924) Б. Северный и В. Экземплярский писали, что автор преследует цель объединения существующих специальных областей прикладной психологии и развитие неразвитых (социальной психотехники, приложение психологии в области права, искусства, науки) — и этим ставит задачу психологизации культуры.

Г. Мюнстерберг был одним из главных героев истории перехода от классической к постклассической пси-

хологии, смысл которого можно выразить формулой: *старую психологию интересовала жизнь души, новую — душа жизни* (см. Василюк, 1986). Психолог классического периода, интроспекционист, видел свой профессионализм в том, чтобы научиться препарировать реальный жизненный процесс и готовить для исследования чистые психические формы, отделенные от предметной действительности существования; он был искренне убежден, что для «изучения ощущения сладости совсем не нужно исследовать сахар». На рубеже веков в психологии появились и громко заявили о себе совсем другие фигуры (среди них, прежде всего, З. Фрейд), которые, наоборот, пожелали повернуться лицом к жизни и именно в ней попытаться увидеть психическое. Разумеется, все они по-разному, иногда противоположным образом, пытались решить эту задачу. Особенность Г. Мюнстерберга состояла в том, что он, не ставя целью реформировать психологическую науку изнутри, занялся прикладной психологией, казалось бы, периферической, а на деле решающей для исторического развития областью психологии, где она пересекалась с жизнью. Прикладную психологию Г. Мюнстерберг делил на каузальную и телеологическую. Каузальная есть использование психологических категорий и методов для объяснения различных феноменов культуры, исследуемых кроме психологии и другими науками (например, включение психологических объяснений в политологический или исторический анализ). Каузальная психология — это «психология культуры». Телеологическая же — приложение психологических знаний и методов для достижения практических целей. Это и есть «психотехника».

Раз психотехника, по Г. Мюнстербергу, — *прикладная* дисциплина, то, чтобы понять ее, стоит выделить и рассмотреть три ее части: *что*, собственно, «прикладывается», *как* и *куда*, то есть предмет, способ и область приложения.

Область приложения психотехники Г. Мюнстерберг категорически осмысливает как **культуру**: «Во всех сферах человеческой культуры (курсив мой. — Ф.В.) возникают психотехнические проблемы» (Мюнстерберг, 1924, с. 7). Учитель воздействует на ребенка, проповедник — на грешника, продавец — на покупателя, врач — на пациента и т.д. В их деятельности «те или иные цели могут быть достигнуты вполне или отчасти через посредство психических процессов, и задача психотехники состоит в том, чтобы показать, о каких процессах должна при этом идти речь и какие влияния необходимы для достижения желательного результата» (там же, с. 5). Заметим, что в качестве примеров сфер культуры Г. Мюнстерберг использует не искусство или науку, а образование, церковь и торговлю, то есть социальные сферы, имеющие отчетливо выраженный **практический** характер. Психотехника здесь предстает как дисциплина, встроенная внутрь социальной практики как ее необходимый элемент, позволяющий и познавать психику, и влиять на нее.

Что касается «предмета приложения», то в теоретической рефлексии Мюнстерберга им остается классическая психология сознания. В одной из ключевых дефиниций он говорит, что психотехника — это использование учения **о явлениях сознания** для того, чтобы решить, что мы должны делать¹⁰.

Как бы мы ни оценивали теоретическое, методическое и практическое значение мюнстерберговой психотехники, но нельзя не согласиться с мнением Л.С. Выготского (1982), что методологическое ее значение огромно, и оно определяется, на наш взгляд, тем, что с самого начала

¹⁰ Заметим, кстати, что Г. Мюнстерберг не различает здесь два важных пласта — аксиологический и операциональный: что делать и как делать. А между тем психотехника обязана проблематизировать эту тему и решать возникающие в связи с ней проблемы. Есть горизонтальное и вертикальное измерения психотехники.

каркас понятия «психотехника», состоящий из трех блоков: *предмет приложения — способ приложения — область приложения*, — был наполнен связкой трех категорий: **сознание—практика—культура**, то есть теми самыми категориями, которыми, как мы видели, конституируется *целостный человек*.

Но если так, то что же — «назад к Мюнстербергу!»? Может ли, в самом деле, идея психотехники, сформулированная Мюнстербергом, стать главной методологической доктриной новейшей психологии? И да, и нет. Да, поскольку она выдвинула важнейшую задачу **научно-практического** освоения проблемы «сознание—культура», то есть такого освоения, где теория сознания могла бы черпать жизненный материал не из интроспекции психолога, а из процессов реального взаимодействия людей в той или другой сфере культуры, и в то же время вносить действенный вклад в оптимизацию и развитие социально-психологических механизмов функционирования этой сферы (будь то школа, наука, искусство, медицина или менеджмент). Нет, прежде всего, потому, что созданная в недрах классической психологии теория сознания, на которую рассчитывал Г. Мюнстерберг, не была способна по-настоящему участвовать в решении этой задачи. Классическая психология сознания была неадекватна самой идее психотехники. Чтобы действительно, конкретно связать в рамках одной дисциплины под названием «психотехника» сознание с практикой и культурой, нужно было сделать радикальный шаг в теории сознания.

Сознание

Такой шаг был сделан в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Он состоял в том, что само сознание было понято как «культурное» и «практическое» по своему генезису, строению и функционированию.

Это утверждение лучше всего пояснить на примере какой-либо психической функции. При исследовании памя-

ти в классической психологии (у Г. Эббингауза и др.) память понималась как автономная функция, самобытный процесс, натуральный объект, подчиняющийся собственным внутренним законам. У З. Фрейда, в его объяснениях процесса забывания, память стала рассматриваться в контексте личной судьбы, как личное действие, разворачивающееся во внутриспсихическом пространстве и участвующее в решении смысловых проблем жизни. У П. Жане, в его теории памяти как рассказа, как «реакции на отсутствие», память также понималась как действие, но разворачивающееся в социальном контексте и мотивированное этим контекстом (необходимостью воспроизвести в рассказе некое социально-значимое событие). П. Жане и З. Фрейд как бы извлекли память из замкнутого мирка психических функций классической психологии и вывели ее в виде человеческого действия в реальные жизненные контексты — биографический и социальный.

Однако радикальные преобразования понятия памяти совершились в культурно-исторической теории Л.С. Выготского, который добавил к предшествующим еще один контекст рассмотрения — контекст культуры — и сумел произвести в понятии «высшей психической функции», относящемся и к памяти, синтез всех этих контекстов. Вспомним еще раз вдохновленные Л.С. Выготским опыты А.Н. Леонтьева по изучению опосредованной памяти. Во-первых, им предшествовал культурологический экскурс в историю, который был не просто беллетристическим предисловием, а анализом функционирования *культурных средств* памяти. Использование средств запоминания стало центральным пунктом проводимых экспериментов. Во-вторых, *социальный контекст* (взаимодействие экспериментатора и испытуемого) был интимным внутренним механизмом, порождающим исследуемый предмет — опосредованное запоминание, а не просто внешним условием «включения» опыта и контроля результатов. В-третьих, память здесь изучалась в генетическом аспекте, но не в смыс-

ле естественного созревания, а в смысле *искусственного построения*. И последнее: память, изучавшаяся, так же как в теориях З. Фрейда и П. Жане, как действие, в отличие от этих теорий одновременно возвращала себе достоинство и облик *психической функции*, то есть вновь «возвращалась» сознанию. *Итак, в школе Л. С. Выготского память была понята как искусственное образование, порождаемое в социальном контексте совместной деятельностью людей с помощью культурных средств (знаков) и интериоризуемое, натурализируемое в биографическом контексте в новую «высшую» психическую функцию*. Таким образом, Л.С. Выготский добавил к контекстам рассмотрения памяти — функциональному, биографическому и социальному — три идеи — культурной опосредованности, генезиса и интериоризации и сумел осуществить синтез всех этих представлений в понятии «высшая психическая функция».

На этом примере отчетливо видно, что Л.С. Выготский создал такую психологическую теорию, где сознание было понято как феномен, которому внутренне присущи культура и практика. Эту теорию можно было бы назвать не только культурно-исторической, но и с равным успехом культурно-практической, поскольку один из основных смыслов слова «историческая» в принятом названии отражает идею генезиса сознания, но не естественного (поэтому это не «генетическая психология», как у Ж. Пиаже), а искусственного, производимого совместной деятельностью, опосредованной культурными средствами, то есть практикой.

Такое понимание сознания в отличие от классической психологии сознания адекватно общей идее психотехники, поскольку изначально включает в свернутом виде всю молекулярную структуру этой идеи — «сознание—практика—культура».

Но почему же Л.С. Выготский не назвал свою теорию культурно-практической, хотя считал практику краеугольным камнем новой психологии, и почему не создал все-

таки психотехнического подхода, хотя признавал за психотехникой величайшее методологическое значение?

Ответ на этот вопрос кроется в понимании второго узла категориальной структуры психотехники — узла практики.

Практика

У Л.С. Выготского было понятие «практической психологии», но не было еще понятия «психологическая практика». На первый взгляд, это синонимы, но по существу между ними пропасть, радикальный сдвиг, отделяющий две исторические эпохи в развитии психологии (ср. Пузырей, 1986).

Практическая психология — это приложение и развитие психологических знаний в какой-либо сфере общественной практики — педагогике, медицине, обороне и т.д. Виды практической психологии получают соответствующие ведомственные имена — педагогическая психология, медицинская, военная и т.д. Каждая разновидность практической психологии включает в себя частную прикладную психологическую теорию, реализующую общепсихологические принципы в материале данной сферы социальной практики и для решения ее задач.

Психологическая практика — это самостоятельная практическая деятельность психолога, где он выступает «ответственным производителем работ», непосредственно удовлетворяющим и обслуживающим социально оформленные жизненные потребности заказчика. Психологическая практика обслуживает «первичного потребителя», а не профессионала, представителя той или другой социальной сферы деятельности. Одно дело — консультирование пациента, обратившегося за психологической помощью, другое — консультирование того же пациента по заказу его лечащего врача. Хотя процессы могут быть очень похожи, но их внутренний смысл, форма осмысления результатов, сам

способ мышления и типы отношений, складывающиеся в этих деятельности, разительно отличаются друг от друга. Наиболее «чистыми» видами психологической практики являются индивидуальное и семейное консультирование и различного рода «личностные» психологические тренинги.

Вернемся к поставленному выше вопросу. Почему, в самом деле, Л.С. Выготский при всей гениальности ума, при всем ясном понимании, что психотехника является краеугольным камнем новой психологии, что только она может вывести психологию из кризиса, не создал все-таки полноценной психотехнической системы? Потому, что у него не только не было, но и не могло быть понятия *психологической практики*. Не в том, разумеется, дело, что он чего-то не додумал, и даже не в том, что социально-политические условия тогдашней жизни в стране не позволили бы психологической практике как таковой осуществляться в сколько-нибудь массовом масштабе, а потому, что психологической практики при жизни Л.С. Выготского вообще не существовало как сложившейся социальной реальности, она еще только рождалась из недр практической психологии, которая сама в ту пору не достигла совершеннолетия.

Первой, и даже отчасти переходной, формой был ранний психоанализ. Психоанализ осуществлялся уже как самостоятельная психологическая практика, но осознавал себя в начале как своего рода лечебную, медицинскую деятельность, оправдывающуюся ценностью здоровья. Однако это была уже не вполне медицина: слишком большой вес для психоаналитика имело раскрытие истины по сравнению с обычным медицинским прагматизмом, слишком много внимания уделялось душевным состояниям в процессе этого странного «лечения разговором», слишком всерьез для материалистической европейской медицины признавалась решающая роль психических процессов в этиологии заболевания. Медицинский миф и антураж долгое время удерживался, но всем было понятно, что это уже не медицина, что психо-

анализ — это какая-то психология. Но какая? Психоанализ совершенно не напоминал теоретическую и экспериментальную психологию того, да и нынешнего, времени. Это не была и «практическая», а именно медицинская психология, поскольку медицинский психолог как таковой обслуживает деятельность врача, а психоаналитик оказывал самостоятельную помощь пациенту. Это не была и «прикладная» психология, ибо психологические знания черпались не из научных психологических систем, чтобы затем быть использованными в психоаналитической работе, а складывались в опыте самой этой работы. Рождалась новая форма психологии.

Событие произошло, психоанализ дал небывалый еще в истории психологии и даже в истории культуры феномен *собственно психологической практики* как самостоятельной социальной сферы, живущей по своим законам, а не обслуживающей какую-либо иную сферу социальной жизни. Правда, этот феномен не был явлен еще, как сказано выше, в чистом виде, это был еще, быть может, не более чем «неандерталец» будущей психологической практики, несущей на себе зримый отпечаток своего происхождения из медицинской практики и естественнонаучного мышления. Возможно поэтому Л. С. Выготский, казалось бы, более всех других гроссмейстеров психологической мысли подготовленный своими же теоретическими построениями к восприятию методологического значения психоанализа, не успел полностью оценить масштаба события, произошедшего с выходом психоанализа на сцену культурной жизни.

Начало века изобиловало грандиозными научными открытиями, философскими прозрениями, художественными свершениями. Но даже на этом фоне психоанализ по своему влиянию на европейскую, а через нее и мировую культуру предстает одной из первых, если не первой вершиной. Уже к 1960-м годам XX века чуть ли не в каждом втором литературном произведении, фильме или

спектакле, философской доктрине и бытовом разговоре, а то и в сновидении образованного европейца можно было обнаружить следы влияния, отголоски образов, схем и понятий психоанализа. Он в тех или других своих вариантах буквально пронизал и изнутри реформировал культуру. Отвлекаемся пока от вопроса, хорошо это или дурно, сейчас речь лишь о реальности факта и масштабах явления.

Разве мог кто-нибудь в конце XIX, да и в начале XX века предположить, что психология, только-только появившаяся на свет как самостоятельная наука и находившаяся на периферии как научной, так и культурной жизни, вдруг так быстро и так громко заявит о себе?

Но чему, собственно, психоанализ обязан своей головокружительной карьерой? Разве не было научных психологических теорий такого же ранга, разве гештальт-психология, генетическая эпистемология Ж. Пиаже или та же культурно-историческая психология Л.С. Выготского были менее мощными психологическими концепциями? Разумеется, нет. Волшебная сила психоанализа, собственно, в том и состояла, что он, несмотря на все естественнонаучные установки своего создателя, не был в строгом смысле слова *научной психологической теорией*. Ни научной, ни психологической, ни теорией. Он был первой *психотехнической системой*, поставившей «камень, который презрели строители», — психологическую практику — во главу угла.

И именно то обстоятельство, что ставка была сделана на свою, психологическую практику, определило как внутренние теоретические достижения психоанализа — развитие принципиально нового стиля и типа мышления, так и его внешние социальные продвижения.

И Г. Мюнстерберг, и Л.С. Выготский мечтали о новой, сильной, жизненной, реальной психологии, оказывающей влияние на человеческую жизнь, на культуру, но они предполагали, что психология войдет в город современной цивилизации через ворота существующих социальных прак-

тик педагогики, промышленности, медицины, юриспруденции и т.д. как надежный и дельный оруженосец этих практик. Процесс этот начинался тогда и продолжается до сих пор. Но психоанализ избрал другой путь. Он обошелся безо всякого покровителя, сам прорубил в городской стене для себя ворота и въехал в город с невозмутимым видом «право имеющего». Без небольшого скандала, разумеется, не обошлось. Но с тем большим энтузиазмом новый пассионарий вскоре был принят в свете. Начался небывалый процесс психологизации культуры.

Если таким оказалось культурное значение первой, еще не до конца оформившейся и осознавшей себя психотехнической системы, то какую роль может сыграть развитая психотехника для судеб цивилизации, об этом можно пока только догадываться. Сомневаться не приходится только в одном, что эта роль, по крайней мере, не меньше, чем роль открытий в области ядерной физики¹¹.

Чем же, повторим, можно объяснить такой неслыханный «карьерный рост», который благодаря психоанализу совершила психология в первой половине XX века, заняв одну из самых влиятельных позиций в культуре? Неужели так сильны и масштабны были прямые результаты психоаналитических сессий, и с психоаналитической кушетки поднялся новый европейский человек? Вовсе нет. С точки зрения развиваемого здесь представления о психотехнике все социальные и культурные успехи психоанализа являются, так сказать, наградой за то, что он создал новую сферу культуры — самостоятельную психологическую практику.

Что до его научных заслуг перед наукой психологией, то главная из них состоит не в развитии категории бессознательного или теории влечений, а в реализации прин-

¹¹ А раз так, раз столь мощная энергия скрыта в невинных, казалось бы, психологических штудиях и практиках, то необходимо отдавать себе отчет и в масштабах потенциального зла, таящегося в психотехнике.

ципиально новой методологии, в психоанализе практика стала методом научного познания, в то же время психологическое познание (анализ) стало методом практики.

Итак, фундаментальный методологический вклад психоанализа в психологию состоит в создании и разработке категории психологической практики. Если категория сознания, разработанная Л.С. Выготским, включила в себя категории практики и культуры как внутренне присущие ей, то развитая в психоанализе категория психотехнической практики вобрала в себя категории культуры и сознания. Мы говорим сейчас не о понятиях и терминах, имевших обращение в самом психоанализе, а о внутренней категориальной их сути.

Психоаналитическая практика была, прежде всего, практикой работы с сознанием, сознание по существу и рассматривалось здесь не как отдельный натуральный объект, а как элемент системы «работа-с-сознанием». Такой подход принес, как известно, щедрые плоды в понимании человеческого сознания.

Что касается категории культуры, то впервые за историю психологии в психоанализе культурные, мифопоэтические формы (не только об «Эдипе» речь) стали не просто метафорой, а объяснительным принципом психологических феноменов. С другой стороны, в лице психоанализа впервые возникла такая психологическая система, которая сделала психологические интерпретации культурных явлений достаточно вескими и серьезными¹². Словом, психология впервые стала культурно

¹² Отношение к ним с самого начала было крайне неоднозначным, кто-то был оскорблен и шокирован, кто-то (В. Набоков, например) не упускал случая, чтобы не попытаться уличить «венского кудесника» в шарлатанстве, кто-то (А. Эйнштейн, например) восхищался научным гением З. Фрейда, но, во всяком случае, уже нельзя было не замечать появившийся новый ракурс рассмотрения культурных феноменов.

конвертируемой: психоаналитические построения легко включались в культурную жизнь, впитывались в символику искусства, становились предметом философских интерпретаций, входили в поры каждой сферы культуры и, наоборот, сами впитывали в себя разного рода культурные влияния.

Таким образом, не просто сам факт психологической практики как новой социальной сферы, но развитие идеи этой практики, включившей в себя как необходимые органы сознание и культуру, — вот чем объясняется столь масштабное влияние психоанализа на европейскую цивилизацию.

Подведем итоги. Расщепление, грозящее расколоть психологию на две дисциплины, может быть преодолено развитием психотехнического подхода, вводящего психологическую практику внутрь психологической науки, а науку — внутрь практики. Принципиальная категориальная схема психотехнического подхода — «сознание—практика—культура» содержалась, пусть в недостаточно отрефлектированном виде, уже в труде Гуго Мюнстерберга (1924), инициатора психотехнического проекта. Понадобились выдающиеся мыслители, которые, ощущая начавшиеся тектонические сдвиги в глубинных основаниях психологии, смогли переосмыслить эти фундаментальные категории и тем помочь рождению новой психологической парадигмы.

Л.С. Выготский в культурно-исторической психологии развил такую теоретико-методологическую трактовку категории *сознания*, которая включила в его внутреннюю структуру категории культуры и практики, благодаря чему удалось создать принципиально новый (психотехнический) тип психологического эксперимента. 3. Фрейд в психоаналитическом учении разработал другой, центральный, блок общей схемы — категорию *практики*, включающей в себя категории сознания и культуры, — и благодаря этому дал первый образец психотехнической

системы. В соответствии с этой логикой наиболее актуальной задачей, замыкающей создание психотехнического подхода, является формирование категории *культуры* с психотехнической точки зрения.

Контуры новой психологии, которая на наших глазах завершает период своего становления, уже достаточно четко обозначились. Не отказываясь от задач *объяснения*, она выдвигает на первый план категорию сознания и потому становится *феноменологической* и *диалогической*, то есть *понимающей* психологией, способной профессионально относиться к предмету исследования не только как объекту, но и как к живому Ты. Не отменяя своих познавательных задач, она станет, прежде всего, *деятельной*, изменяющей психологией, ставящей психологическую *практику* во главу угла не только своего социального функционирования, но и своей исследовательской методологии. Не отбрасывая своих почтенных естественнонаучных традиций, она станет, наконец, и полноценной *гуманитарной* дисциплиной, способной понимать человека в культуре и культуру в человеке и взаимодействовать с ним с учетом этого понимания.

Итак, в рождающейся психологии выделяются три магистральных и взаимосвязанных подхода: категории практики соответствует «деятельный» подход, категории сознания — понимающий подход, категории культуры — гуманитарный подход. Следовательно, новая психология есть психология **понимающая — деятельная — гуманитарная**.

Обсуждение актуальных проблем, которые встают перед психологией в связи с психотехнической разработкой категории культуры, выходит за пределы задач этой главы, но одну из них — не столько психологическую проблему, сколько проблему психологии — необходимо назвать. Это проблема *культурной ответственности*. Чем далее развивается психология как социальная практика, тем более психологизируется культура. В то же время идет

встречный процесс «культуризации» психологии, насыщения ее культурными содержаниями. Зачастую не осознавая философские, этические, религиозные источники своих идей, психология становится агентом, проводником, а благодаря совершенствованию техники психологической работы, и «сверхпроводником» различных содержаний из культуры в человеческое сознание. Многие внимательные наблюдатели процессов, происходящих в современной культуре, с тревогой смотрят на то положение, которое заняла психология в жизни европейского человека¹³. И в самом деле страшно сознавать, что через канал психологии в человеческую душу под профессионально благовидными предложениями «эмоциональной поддержки», «расширения сознания», «устранения невротических симптомов» и т.д. вводятся чудовищные смеси

¹³ С.С. Аверинцев пишет об утрате европейским сознанием «императива значительности», в связи с чем для психологии возникает опасность быть все более востребованным массовой культурой «суррогатом» духовности: «...Смотрю сам на себя с удивлением! — все-таки ностальгия. Ностальгия по тому состоянию человека как типа, когда все в человеческом мире что-то значило или, в худшем случае, хотя бы хотело, пыталось, должно было значить; когда возможно было "значительное". Даже ложная значительность, которой, конечно, всегда хватало — "всякий человек есть ложь", как сказал Псалмопевец (115:2), — по-своему свидетельствовала об императиве значительности, о значительности как задании, без выполнения коего и жизнь — не в жизнь... Значительность вообще, значительность как таковая просто улетучилась из жизни — и стала совершенно непонятной. Ее отсутствие вдруг принято всеми как сама собой разумеющаяся здоровая норма. Операция совершенно благополучно прошла под общим наркозом; а если теперь на пустом месте чуть-чуть ноет в дурную погоду, цивилизованный человек идет к психотерапевту (а в странах менее цивилизованных обходятся алкоголем или наркотиками)» (Аверинцев, 1996).

мотивов, образов, идей из совершенно несовместимых культур и культов от шаманизма до бахаизма. Спасение от «идеологии» вовсе не в идеологической всеядности психологии (это замена рабства на худшее — быть слугой многих господ) и не в доморощенной антропологии, а в свободе. В свободе совести, в частности. Выбор культурной позиции, осуществляемый на основе этой свободы, — за пределами профессии. Но у нас нет свободы от свободы совести. Игнорировать саму ситуацию ценностного выбора культурной позиции для современного психолога уже не позволительно. Исследовательские проекты превратились в реальность, психология стала *культурно-исторической* в полном смысле слова. У нас теперь такая профессия, что мы в ответе за то, будет ли человек искать в своей душе Эдипа или Христа.

Комментарии

К 1.3. Историко-методологический анализ психотерапевтических упований

Первоначальный вариант текста главы был подготовлен как доклад на 3-й Международной конференции «Психология и христианство: путь интеграции», организованной фирмой «Иматон» (Санкт-Петербург, 10—13 мая 1997 г.). Впервые опубликовано под заглавием «На подступах к синергийной психотерапии: история упований» в Московском психотерапевтическом журнале № 2 за 1997 год. Для настоящего издания текст был переработан, особенно в последней своей части.

К 2.2. От Павлова к Бернштейну

Текст этой главы публикуется впервые. Она была написана в 1976 г. в качестве курсовой работы на факультете психологии МГУ под руководством А.Г. Асмолова. С благодарностью вспоминаю самоотверженность и горячность, с которой Александр Григорьевич включался и в научную работу, и в человеческую заботу о своих студентах. Благодарю также Институт физиологии детей и подростков РАО, где я в ту пору работал ночным сторожем и имел редкую по тем временам и, каюсь, самовольно предоставленную себе возможность пользоваться электрической пишущей машинкой.

К 2.3. Павлов и Скиннер: сравнительный методологический анализ теорий

Эта глава публикуется впервые, если не считать ее депонирования в библиотеке ИНИОН. Она была написана в 1979 г.

Зимой 1979 умер А.Н. Леонтьев, бывший научным руководителем моей аспирантской работы. Руководить моей работой над диссертацией великодушно согласился В.П. Зинченко. Занимаясь в ту пору экспериментальными и теоретическими исследованиями движения, Владимир Петрович прочитал текст «От Павлова к Бернш-

тейну» и предложил превратить его в кандидатскую диссертацию («Почти все готово, — сказал он, — осталось только размазать кашу по тарелке»). Но меня в ту пору увлекала проблема переживания, и методологические исследования рефлексологии и бихевиоризма я продолжил в рамках руководимого В.П. Зинченко хоздоговора (по-нынешнему — «гранта»). Результатом этого исследования и явился текст «Павлов и Скиннер», который публикуется в данной книге с небольшими добавлениями. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность Владимиру Петровичу Зинченко и Наталье Дмитриевне Гордеевой за неизменную дружескую поддержку и вдохновляющие обсуждения тончайших теоретических и экспериментальных нюансов психологии движения.

К 2.4. К проблеме единства общей психологии
(Краткий исторический комментарий к публикации 2003 г.)

Эта работа была написана в 1984 и опубликована в 1986 г. в журнале «Вопросы философии» (№ 10, с. 76—86) после напряженных редакционных дебатов, несмотря на более чем лояльное авторское название «К проблеме единства советской психологии». Хочу поделиться с читателем историей создания и публикации статьи.

В 1979 г. в Тбилиси во время знаменитого Международного симпозиума по проблеме бессознательного мне совершенно непрощенно пришла в голову идея тесной логической связи трех психологических категорий — установки, деятельности и отношения. Сразу почувствовалось, что в этой мысли скрыт большой теоретический потенциал. Вскоре идея сложилась в логическую пропорцию четырех психологических категорий — деятельности, установки, отношения и общения. Эти категории, по поводу теоретико-методологического соотношения которых ломалось в послевоенной советской психологии столько копий, вдруг сложились в логический узор, настолько простой и очевидный, что было удивительно, как раньше никто не обратил на него внимания. Особенное логико-эстетическое удовольствие, как в изящном шахматном этюде, доставляла двойная пропорциональность всех элементов:

установка/деятельность = отношение/общение

и при этом

установка/отношение = деятельность/общение,

то есть, во-первых, установка относится к деятельности так же, как отношение — к общению, и, во-вторых, установка относится

к отношению так же, как деятельность к общению, так что все четыре категории образовывали своеобразный логический квадрат:

установка	деятельность
отношение	общение

Каков общий смысл этого объединения категорий, мне было пока не понятно, но сам факт, что они вдруг соединились в симметричную, уравновешенную систему, создавал чувство интеллектуального инсайта и обещал открыть новые теоретические горизонты. Читателю, пришедшему в профессиональную психологию в конце 1980-х годов или позже, нелегко почувствовать силу заряда, содержащегося в этой схеме: подумаешь, удачно сошелся логический пасьянс из четырех понятий! Но тот, кто знал отечественную психологию раньше и участвовал в научной жизни, понимает: это были не просто понятия, но символы, больше — знамена, под которыми и выступали на парадах, и сражались между собой ведущие психологические школы страны. За категорией деятельности вставала фигура А.Н. Леонтьева и факультет психологии МГУ, за категорией установки — Д.Н. Узнадзе и Институт психологии Грузинской академии наук, за категорией отношения — В.Н. Мясищев и Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, а категорию общения стремился связать со своим именем тогдашний директор Института психологии АН СССР Б.Ф. Ломов. Доказать, что все они логически связаны между собой и представляют равноранговые и незаместимые части одной целостной теоретической конструкции, словом, расставить их всех по своим местам, было чрезвычайно заманчиво, потому что каждая из школ и соответствующих теорий горделиво считала себя самодостаточной, зачастую без особого уважения относилась к другим и не прочь была, представься случай, теоретически ассимилировать (читай — поглотить) их и организационно-идеологически подчинить. Кроме того, все эти школы, не переставая твердить заклинание о «единстве советской психологии», ни в какое подлинно содержательное теоретическое единство не верили, подразумевая под единством дежурные признания в верности марксистско-ленинской идеологии и привычное манипулирование несколькими ходячими цитатами из классиков.

И вот вдруг оказывается, что они, сами того не ведая, действительно теоретически едины и даже больше, чем им, вероятно, хотелось бы. Это было удивительно, и, рассказывая на кухне сво-

им друзьям об этом неожиданном наблюдении, я строил вполне «кухонные» гипотезы о том, что замкнутость Советского Союза создала небывалые экспериментальные исторические условия, в которых психологическая наука невольно породила целостную концептуальную вселенную, развив в разных ее провинциях взаимодополняющие друг друга теоретические органы одного единого методологического организма. Это было приятное утешение и даже своего рода оправдание советского научного изоляционизма. В конце концов, даже за полярным кругом на изолированных островках складываются вполне жизнеспособные биоценозы («всюду жизнь!»), и их научное исследование обладает даже известными преимуществами именно из-за небольшого многообразия входящих в них видов.

Так возникла центральная идея публикуемой здесь статьи. Но в ту пору в фокусе моих теоретических интересов была проблема переживания, а практических — освоение психодиагностических и психотерапевтических умений, и потому только после завершения работы над книгой «Психология переживания» в 1984 г. у меня нашлось время оформить эту идею в виде статьи, после чего она года полтора отлеживалась в редакции «Вопросов философии». Впрочем «отлеживалась» — не то слово, вынашивание статьи в чреве главного философского журнала страны спокойным не назовешь. Состоялось, по меньшей мере, два заседания редакционной коллегии, где статья довольно подробно обсуждалась. Протоколы этих заседаний в части, относящейся к статье, аккуратно пересылались автору в село Строгоновка в фирменных конвертах к удивлению деревенского почтальона. До сих пор восхищаюсь четкостью работы канцелярии журнала. Эти протоколы — прелюбопытные документы. Обсуждение сохраняло подчеркнуто академический стиль, но за логической аргументацией «за» и «против» публикации легко прочитывались так сказать территориально-идеологические аффекты. Главный из них — возмущение такого толка, «не по чину берет». Тридцатилетний «мальчишка» не просто посягал на обсуждение священных тем, но выбрал такой ракурс рассмотрения, при котором признанные князья советской психологической науки превращались в карточных королей, их можно было тасовать как заборорассудится, а удельные княжества оказывались фрагментами географической карты, которая тут же по-новому перекраивалась.

Готовя текст для нынешней публикации и предполагая, что основными читателями книги будут коллеги, чье профессиональное психологическое становление пришлось на постсоветские годы, мне показалось более осмысленным не переверстывать эту работу

под современность, а оставить ее почти в нетронутом виде, как своего рода исторический документ. Для понимания этого документа нелишне сделать несколько замечаний о специфических языковых нюансах того времени, когда статья писалась.

Их было множество, но вот один характерный пример. Скажем, при написании автореферата кандидатской диссертации существовала негласная норма, требовавшая, чтобы в первой фразе содержалась ссылка на решение очередного партийного съезда. Отсутствие такой ссылки прямо ничем не грозило соискателю степени, но было уже мельчайшим атомом идеологического неповиновения. Для публикуемого текста важно прежде всего пояснить скрытый идеологический смысл общих эпитетов, характеризовавших развивающуюся в СССР психологию в целом. В научной литературе существовал целый синонимический ряд, выстроенный по шкале «фрондерство — идейная верность» (разумеется, подлинно оппозиционные характеристики, которые могли бы составить «левый» полюс шкалы, в официальную литературу не попадали). Нашу психологию в целом можно было определить как «марксистско-ленинскую», и такое определение означало высокую степень идеологической преданности автора. Можно было назвать ее советской, и это означало либо простую государственно-географическую привязку (психология, развиваемая в Советском Союзе), либо выражение политической лояльности. Можно было сделать еще шаг в сторону идеологического фрондерства и ратовать за «марксистскую» психологию, скрыто противопоставляя кондовой, примитивной, цинично партийной «марксистско-ленинской». Однако, чтобы необходимый смысловой нюанс был прочитан, желательно было ссылаться при этом на ранние, «сомнительные» работы К. Маркса или — что действовало сильнее — на кого-нибудь из вольнодумных интерпретаторов марксизма, например, М.К. Мамардашвили. Систематическое употребление вместо всех этих слов определения «**отечественная**» психология говорило о том, что автор мечтает оказаться вовсе вне идеологического контекста, но не мечтает при этом уехать из страны.

Предлагаемая читателю статья была с неудовольствием воспринята на обоих идеологических полюсах. Мои друзья, чужающиеся партийно-номенклатурных игр в профессии, оценили статью как неожиданно конъюнктурную, и от укоров в карьеристских намерениях меня спасло только такое надежное алиби, как работа в сельской психиатрической больнице. С другой стороны, испытанные борцы за корпоративную власть в психологии восприняли статью как попытку посягательства на их сакральные права на теоретизирование. Их-то позиция и отразилась на упоминавшихся выше заседаниях ред-

коллегии «Вопросов философии». Дело в том, что в психологических учреждениях к теоретической работе было совершенно особое отношение. Теоретизирование воспринималось не как одна из разновидностей научной работы, которая не хуже и не лучше других, а как ранговая привилегия. Поэтому заниматься теорией было прилично только имеющим степень доктора психологических наук, да и то при условии, что это не были теоретические обобщения самого высокого порядка, привилегией на которые обладало только первое лицо учреждения — декан факультета, директор института. В статье же речь шла не просто о частном теоретическом построении, а о методологической конструкции, объединяющей ведущие психологические школы. И это вполне основательно было воспринято как дерзкий вызов олигархам психологии, тем более раздражающий, что отклонить статью по идеологическим основаниям было сложно, ибо все правила идеологической игры были неукоснительно соблюдены — автор ратовал за построение единой марксистской психологии.

Читатель вправе спросить: каково подлинное отношение автора к сформулированным в работе идеям? Думаю, что по счастливой случайности в этой работе удалось усмотреть неслучайные, настоящие соотношения между действительно важнейшими психологическими категориями, образующими целую парадигму психологического мышления, далеко не исчерпавшую свой эвристический потенциал и совершенно не сводимую к марксизму. Завершающей парадигму категорией (тоже, вероятно, не случайно) оказалась категория общения.

Если, отбросив наносное и ложное, бережно отнестись к достижениям отечественной психологической школы, к той истине, которую ей удалось выговорить, несмотря на все вывихи идеологического мышления, если поставить задачу осознанного продолжения традиции, то перед нами открываются плодотворные перспективы. Здесь не место для их подробного обсуждения, сформулирую только главную прогностическую методологическую гипотезу. Категории общения, согласно этой гипотезе, суждено стать не только общепсихологической категорией, завершающей парадигму отечественной психологической мысли XX столетия, но и выступить в качестве первичной категориальной формы, вокруг которой будет кристаллизоваться новая парадигма. Причем сам статус этой категории в новой парадигме принципиально изменится, она станет не только понятийной фиксацией основного содержания исследования, но будет выражать еще и суть новой формы исследования, в соответствии с которой субъект и объект психо-

логического познания изначально связаны не только гносеологическим отношением, но объединены всегда реальной формой общности и общения, так что психологическое познание человека в «третьем лице» становится периферическим и подчиненным методом, а в центр становится познание человека в форме Ты.

К 3.2. От психологической практики к психотехнической теории

Текст этой главы впервые был опубликован в 1992 в самом первом номере Московского психотерапевтического журнала: *Василюк Ф.Е.* От психологической практики к психотехнической теории // Моск. психотерапевтич. журн. 1992. № 1. С. 15—32. Затем статья неоднократно перепечатывалась в разных изданиях.

К 3.3. Методологический смысл психологического схизиса

Статья под тем же названием была опубликована в журнале «Вопросы психологии», 1996, № 6. В 1996 исполнилось 100 лет не только Л.С. Выготскому, но и Ж. Пиаже, Н.А. Бернштейну и Б.М. Теплову. Печатается с небольшими изменениями и дополнениями.

Литература

- Абульханова-Славская К.А.* Деятельность и психология личности. М., 1980.
- Аверинцев С.С.* Моя ностальгия // Новый мир. 1996. № 1.
- Анохин П.К.* От Декарта до Павлова. М., 1945.
- Анохин П.К.* Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975.
- Аристотель.* Метафизика: Соч.: В 4-х т. Т. 1. М., 1975. С. 63—451.
- Аристотель.* Поэтика: Соч.: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 645—681.
- Аристотель.* Соч.: В 4-х т. М., 1975.
- Асмолов А.Г.* Деятельность и установка. М., 1979.
- Асмолов А.Г.* Основные принципы психологической теории деятельности / В кн.: А.Н. Леонтьев и современная психология. М., 1983.
- Бандлер Р., Гриндер Дж.* Из лягушек в принцы. М., 1995.
- Бейтсон Г., Джексон Д.Д., Хейли Дж., Уикленд Дж.Х.* К теории шизофрении // Москов. психотер. журн. 1993. № 1—2.
- Бернштейн Н.А.* Новые линии развития в физиологии и их соотношение с кибернетикой / В кн.: Философские вопросы физиологии ВНД и психологии. М., 1963.
- Бернштейн Н.А.* О построении движений. М., 1947.
- Бернштейн Н.А.* Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
- Бернштейн Н.А.* Проблемы моделирования в биологии активности / В кн.: Математическое моделирование жизненных процессов. М., 1966.
- Бурно М.Е.* Терапия творческим самовыражением. М.: Медицина. 1989.
- Бурно М.Е., Добролюбова Е.А. (Ред.)* Практическое руководство по Терапии творческим самовыражением. М.: Академический Проект — ОППЛ, 2003.
- Варга А.Я.* Аутопсихотерапевтическое сочинение на религиозную тему // Москов. психотер. журн. 1994. № 1. С. 164—170.
- Василюк Ф.Е.* Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций // Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 3. С. 90—101.
- Василюк Ф.Е.* К проблеме единства общепсихологической теории // Вопросы философии. 1986. № 10. С. 76—86.
- Василюк Ф.Е.* От психологической практики к психотехнической теории // Москов. психотер. журн. 1992. № 1. С. 15—32.
- Василюк Ф.Е.* Психология переживания. М.: МГУ, 1984.
- Василюк Ф.Е.* Типология переживания различных критических ситуаций // Психологич. журн. 1995 (а). № 5. С. 104—114.
- Василюк Ф.Е.* Уровни построения переживания и методы психологической помощи // Вопросы психологии. 1988. № 5. С. 27—37.
- Вильюнас В.К.* К теоретической постановке проблемы стресса / В кн.: Материалы Вильнюсской конференции психологов Прибалтики. Вильнюс, 1972. С. 227—228.

- Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М.: Канон-Пресс, Кучково поде, 1998.
- Волошинов В.Н. Фрейдизм. Критический очерк. М.-Л., 1927.
- Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса: Соч.: В 6-ти т. Т. 1: Вопросы теории и истории психологии. М., 1982. С. 291—436.
- Выготский Л.С. Мышление и речь М., 1934.
- Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения / В сб.: Психология и марксизм. Л., 1925.
- Гальперин П.Я. В какой мере понятие «черного ящика» применимо в психологии обучения // Теория поэтапного формирования умственных действий и управление процессом учения. М., 1967.
- Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследование мышления в советской психологии. М., 1966.
- Генисаретский О.И. Методологическая организация системной деятельности / В кн.: Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. М., 1975.
- Губачев Ю.М., Иовлев Б.В., Карвасарский Б.Д., Разумов С.А., Стабровский Е.М. Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Л.: Медицина, 1976.
- Гусев Г.В. Психология общения. М., 1980.
- Давыдов В.В. Учение А.Н. Леонтьева о взаимосвязи деятельности и психического отражения / В кн.: А.Н. Леонтьев и современная психология. М., 1983.
- Джэндлин Ю. Фокусирование: новый психотерапевтический метод работы с переживаниями. М.: Класс, 2000. 448 с.
- Занадворов М.С. Я и Иное // Москов. психот. журн. 1994. № 2. С. 179—190.
- Зинченко В.П. Образ и деятельность. М.—Воронеж: Институт практической психологии, 1997.
- Зинченко В.П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М.: Новая школа, 1997.
- Зинченко В.П., Гордеева Н.Д. Функциональная структура действия. М.: МГУ, 1982.
- Зинченко В. П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. М., 1983.
- Конради Г. и др. (Ред.) Физиология труда. М., 1934.
- Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования / В кн.: Эмоциональный стресс. Л.: Медицина, 1970. С. 178—209.
- Леви Л. (Ред.). Эмоциональный стресс. Л.: Медицина, 1970. 326 с.
- Леонтьев А.А. Деятельность и общение // Вопросы философии. 1979. № 1.
- Леонтьев А.А. Общение как предмет психологического исследования / В кн.. Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975.
- Леонтьев А.А. Психология общения. Тарту, 1974.
- Леонтьев А.А. Творческий путь Алексея Николаевича Леонтьева / В кн.: А.Н. Леонтьев и современная психология. М., 1983.
- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
- Леонтьев А.Н. Опосредованное запоминание у детей с недостаточным или болезненно измененным интеллектом // Вопросы дефектологии. 1928. №4. С. 15—277

- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972.
- Леонтьев А.Н. Развитие памяти. М., 1931.
- Ломов Б. Ф. К проблеме деятельности в психологии // Психологический журнал. 1981. Т. 2. № 5.
- Ломов Б. Ф. Категории общения и деятельности в психологии // Вопросы философии. 1979. № 8.
- Ломов Б.Ф. Общение как проблема общей психологии / В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975.
- Мамардашвили М., Пятигорский А. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. М., 1974 (рукопись).
- Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тб., 1984.
- Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии / В кн.: Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972. С. 28—94.
- Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1—50. 2-е изд. М., 1955—1981.
- Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 1967.
- Маркс К. Тезисы о Фейербахе / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 3—4.
- Минделл А. Работа со сновидящим телом // Москов. психотер. журн. 1993. № 3. С. 117—136.
- Мюнстерберг Г. Основы психотехники. М., 1924.
- Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960.
- Мясищев В.Н. О связи проблем психологии отношения и психологии установки / В кн.: Понятия установки и отношения в медицинской психологии. Тб., 1970.
- Наенко Н.И., Овчинникова О.В. О различении состояния психической напряженности / В кн.: Психологические исследования. М., 1970. Вып. 2. С. 40—46.
- Назлов Г.М. Портретный метод в психотерапии. М.: ПЕР СЭ, 2001.
- Обсуждение докладов по проблеме установки на совещании по психологии (1—6 июля 1955 г.) // Вопросы психологии. 1955. № 6.
- Павлов И.П. Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. М., 1973.
- Павлов И.П. Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 3. Кн. 2. М., 1951.
- Павлов И.П. Полное собр. соч. М.—Л., 1951—1952.
- Петровский А.В. История советской психологии. М., 1967.
- Прангшвили А. С. Общепсихологическая теория установки / В кн.: Психологическая наука в СССР. Т. 2. М., 1960.
- Проблема общения в психологии. М., 1981.
- Пузырей А.А. Культурно-историческая психология Л.С. Выготского и современная психология. М., 1986.
- Радзиховский Л.А. Проблема субъекта и объекта в психологической теории деятельности // Вопросы философии. 1982. № 9.

- Разумов Р.С. Эмоциональные реакции и эмоциональный стресс // В кн.: Эмоциональный стресс в условиях нормы и патологии человека. Л., 1976. С. 5—32. Гл. I.
- Роджерс К. Клиентоцентрированный/человекоцентрированный подход в психотерапии // Москов. психотер. журн. 2002. № 1. С. 54—69.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946.
- Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1976.
- Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения. М.: Педагогика, 1987.
- Савенко Ю. С. Проблема психологических компенсаторных механизмов и их типология / В кн.: Проблемы клиники и патогенеза психических заболеваний. М., 1974. С. 95—112.
- Сарджвеладзе Н.И. Бессознательное и понятие установки в концепции Д.Н. Узнадзе // Вопросы психологии. 1985. № 4.
- Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме. М.: Медицина, 1960. 254 с.
- Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. 125 с.
- Скиннер Б. Наука об учении и искусстве обучения // Программированное обучение за рубежом. М., 1968. С. 32—47.
- Степин В.С. Становление научной теории. Минск, 1976.
- Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1975.
- Ткаченко А.Н. Взаимосвязь объяснительных принципов психологической науки // Вопросы психологии. 1977. № 4.
- Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966.
- Уотсон Дж.Б. Психология как наука о поведении. М.; Л., 1926.
- Ухтомский А.А. К 15-летию советской физиологии (1917—1932): Собр. соч. Т. 5. Л., 1954. С. 30—120.
- Ушакова Э.И., Ушаков Г.К., Илпаев И.Н. Об уровнях формирования стрессоров и стрессов / Труды Ленингр. науч.-исследов. психоневрологического ин-та им. В.М. Бехтерева. Т. 82: Эмоциональный стресс и пограничные нервно-психические расстройства. Л., 1977. С. 5—20.
- Физиология труда / Под ред. Г. Конради и др. М., 1934.
- Флоренский П., свящ. Из богословского наследия: Богословские труды. Сб. ХУП. М., 1977. С. 85—248.
- Флоренский П., свящ. Столп и утверждение истины: В 2-х т. М.: Правда, 1990.
- Фресс П. Эмоции / В кн.: Экспериментальная психология / Под ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. М., 1975. Вып. V. С. 111—195. Гл. XVI.
- Фром Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990.
- Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: КСП+, 1997.
- Хоружий С. С. Аналитический словарь исихастской антропологии / В кн.: Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия / Под ред. С.С. Хоружего. М.: Ди-Дик, 1995. С. 42—150.
- Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998.
- Цапкин В.Н. Личность как группа — группа как личность // Москов. психотер. журн. 1994. № 4. С. 11—28.

- Шерозия А.Е.* Психика. Сознание. Бессознательное. К обобщенной теории психологии. Тб., 1979.
- Эриксон М.* Мой голос останется с вами. СПб., 1995.
- Юдин Э.Г.* Системный подход и принцип деятельности. М., 1978.
- Ярошевский М.Г.* История психологии. М., 1985.
- Ярошевский М.Г.* Специфика детерминации психических процессов // Вопросы философии. 1972. № 1.
- Ярошевский М.Г., Гургенидзе Г.С.* Послесловие // В кн.: Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 1. М., 1982.
- Ясперс К.* Общая психопатология. М.: Практика, 1997.
- Allport F. H.* The Structuring of Events: outline of a General Theory with Application to Psychology // The Psychological Review. 1954. Vol. 61. N 5.
- Averill J.P.* Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress // Psychological bulletin. 1973. Vol. 80. N 4. P. 286—303.
- Boring E.G.* A History of Experimental Psychology: 2nd ed. N.-Y., 1950.
- Eysenck H. I., Arnold W., Meili R.* (Ed.) Encyclopedia of psychology. L.: Fontana-Collins, 1975. Vol. 1—2.
- Fester C. B., Skinner B. F.* Schedules of Reinforcement. N.-Y., 1957.
- Gendlin E.T.* Experiencing and the Creation of Meaning. N.-Y., 1962.
- Gordon T. P.E.T.* Parent Effectiveness Training. N.-Y.: Plume Book, 1970.
- Lacan J.* Ecrits. Paris, 1966.
- Lazarus R.S.* A laboratory approach to the dynamic of psychological stress / In: Contemporary research in personality / Ed. by L.G. Sarason. Princeton, 1969. P.94—105.
- Rose J.* Sharing Spaces? Prayer and the Counselling Relationship, London: Darton, Longman and Todd, 2002.
- Sells S.B.* On the Nature of Stress / In: Social and Psychological factors in Stress. N.-Y., 1970.
- Selye H.* Stress, cancer and the mind / In: Cancer, stress, and death. N.-Y.; L., 1979. P. 11—19.
- Skinner B.F.* About Behaviorism. N.-Y., 1974.
- Skinner B.F.* How to Teach Animals (1951) / In: Skinner B.F. Cumulative Record. N.-Y., 1959. P. 412—419.
- Skinner B.F.* Superstition in the Pigeon (1938) / In: Skinner B.F. Cumulative Record. 1959. P. 404—409.
- Skinner B.F.* The Concept of the Reflex in the Description of Behavior (1931) / In: Skinner B.F. Cumulative Record. N.-Y., 1959. P. 319—346.
- Skinner B.F.* The Generic Nature of the Concept of Stimulus and Response (1935a) / In: Skinner B.F. Cumulative Record. N.-Y., 1959. P 347—366.
- Skinner B.F.* Two Types of Conditioned Reflex and a Pseudo-Type (1935) / In: Skinner B.F. Cumulative Record. N.-Y., 1959.
- Wolpe J.* Psychotherapy by Reciprocal Inhibition. Stanford, 1958.

Содержание

Предисловие	3
Часть 1. Методологический анализ психологических понятий.....	9
1.1. Введение	9
1.2. Методологический анализ понятия стресс	12
1.3. Историко-методологический анализ психотерапевтических упований.....	21
Часть 2. Методологический анализ психологических теорий	56
2.1. Введение	56
2.2. От Павлова к Бернштейну	59
2.3. Павлов и Скиннер: сравнительный методологический анализ теорий.....	99
2.4. К проблеме единства общей психологии	142
Часть 3. Методологический анализ научной ситуации в психологии	173
3.1. Введение	173
3.2. От психологической практики к психотехнической теории	177
3.3. Методологический смысл психологического схизиса.....	197
Комментарии	228
Литература.....	235

Ф.Е. Василюк
Методологический анализ в психологии

Редактор О.В. Квасова
Корректор Н.С. Самбу
Компьютерная верстка Д.В. Чекалин

Издательство «Смысл» (ООО НПФ «Смысл»)
103050, Москва-50, а/я 158
тел./факс (095) 195-37-13, (095) 195-03-08
e-mail: smysl@smysl.ru
<http://www.smysl.ru>
Лицензия ИД № 04850 от 28.05.2001

Московский городской
психолого-педагогический университет
127051, Москва, ул. Сретенка, д. 29
тел. (095) 923-38-48
e-mail: amargolis@mail.ru
<http://www.mgppu.ru>
Лицензия ИД № 01278 от 22.03.2000

Подписано в печать 29.10.2003. Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Гарнитура Times ET. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,6. Тираж 3000 экз. Заказ № 1154.

Отпечатано с диапозитивов в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.



**Василюк
Федор Ефимович**

Декан факультета психологического консультирования Московского городского психолого-педагогического университета. После окончания аспирантуры МГУ (под руководством А.Н. Леонтьева, а затем В.П. Зинченко) работал клиническим психологом в психиатрической больнице в Крыму. В 1984 г. вышла его книга «Психология переживания», которая до сих пор остается одной из самых цитируемых в отечественной психологии; в 1991 г. она была издана в Великобритании. В 1986-1988 гг. участвовал в создании одного из первых в стране специализированных социально-психологических центров, с 1988 г. – в создании Института человека АН СССР. С 1990 по 1993 гг. был директором Центра психологии и психотерапии. В 1992 г. стал инициатором создания Московского психотерапевтического журнала и более 10 лет возглавляет его редакционный совет. С 1994 г. заведует лабораторией научных основ психотерапии Психологического института РАО, параллельно организовал ведущий в нашей стране факультет психологического консультирования, которым руководит с 1997 г. Ф.Е. Василюк широко известен как специалист в области методологии психологии, психологии сознания, христианской психологии. На основе многолетней психотерапевтической практики им был создан оригинальный авторский подход, получивший название «Понимающая психотерапия».

ISBN 5-89357-144-4



9 785893 571448

